



Константин Михайлович Станюкович
Матроска

Серия ««Морские рассказы»»

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru), 22 апреля 2003 года
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138690
Станюкович К.М. Собр.соч. в 10 томах. Том 7: Издательство
«Правда»; Москва; 1977

Содержание

I	4
II	8
III	14
IV	21
V	29
VI	35
VII	42
VIII	49
IX	54
X	59
XI	64
XII	71
XIII	75
XIV	83
XV	90
XVI	94
XVII	98

Константин Михайлович Станюкович Матроска ¹

I

Жадно, бывало, заглядывались матросы, возвращаясь небольшими кучками с работ в военной гавани, на молодую, пригожую и свежую, как вешнее утро, жену рулевого Кислицына, Груню.

При встречах с нею почти у каждого из них точно светлело на душе, радостней билось сердце, и невольная ласковая улыбка озаряла лицо.

И когда она, степенная, сосредоточенная и серьезная, проходила мимо, не удостоив никого даже взглядом, многие с чувством обиды и в то же время восхищения смотрели вслед на крепкую и гибкую, хорошо сложенную маленькую фигурку матроски, которая быстро шагала, слегка повиливая бедрами.

И нередко кто-нибудь восторженно замечал:

– И что за славная эта Груня!

– Д-да, братец ты мой, баба! – сочувственно протягивал другой. – Но только ее не облестишь... Ни боже ни! – не то

с досадой, не то с почтением прибавлял матрос... – Матроска правильная... честная... Не похожа на наших кронштадтских... Она кому угодно в ухо съездит.

– Прошлым летом одного лейтенанта так угостила, что морду-то у него ажно вздуло! – со смехом проговорил кто-то.

– За что это она?

– А вздумал, значит, лейтенант ее под микитки... Черт!

– Вот так ловко! Ай да молодца Грунька! – раздавались одобрительные восклицания.

Действительно, в Груне было что-то особенно привлекательное.

Даже кронштадтские писаря, подшкиперы и баталеры, любители и поклонники главным образом адмиральских нянек и горничных, понимающих деликатное обращение и щеголявших в шляпках и кринолинах, – и те не оставались к ней презрительно равнодушны. Победоносно закручивая усы, пялили они глаза на эту бедно одетую матроску с приподнятым подолом затасканной юбки, открывавшим ноги, обутые в грубые высокие сапоги, в старом шерстяном платке на голове, из-под которого выбивались на белый лоб прядки светло-русых волнистых волос.

Но все как-то необыкновенно ловко сидело на Груне. В щепетильной опрятности ее бедного костюма чувствовалась инстинктивная кокетливость женщины, сознающей свою красоту.

При виде хорошенькой матроски, господа “чиновники”,

как зовут матросы писарей и разных нестроевых унтер-офицеров, отпускали ей комплименты и, шествуя за ней, громко выражали мнение, что такой, можно сказать, Красавине по-настоящему следовало бы ходить в шляпке и бурнусе, а не то что чумичкой... Только пожелай...

– Как вы полагаете, мадам? Вы кто такие будете: мадам или мамзель?

– Не угодно ли зайти в трактир?.. Мы вас угостим... Любите мадеру?

Вместо ответа матроска показывала кулак, и господа “чиновники”, несколько шокированные таким грубым ответом, пускали ей вслед:

– Экая мужичка необразованная... Как есть деревня!

Не оставляли Груню своим благосклонным вниманием, случалось, и молодые мичмана.

Запуская на матроску “глазенапы”, они при удобном случае преследовали ее и спрашивали, где живет такая хорошенькая бабенка? Чем она занимается? Можно бы ей приискать хорошее место. Отличное! Например, не хочет ли она поступить к ним в экономки?.. Их всего трое...

– Что ты на это скажешь, красавица?

– Тебя как зовут?.. Куда ты идешь?

– Прелесть какая ты хорошенькая!.. Без шуток, поступай к нам в экономки... хоть сегодня... сейчас... И кто из нас тебе понравится, тот может тебя целовать сколько угодно...
Согласна?

– Да ты что же, немая, что ли?

Матроска делала вид, что ничего не слышит, и прибавляла шаг. И только ее белое красивое лицо, с прямым, слегка приподнятым носом, высоким лбом и строго сжатыми губами, алело от приливавшего румянца, и порой в ее серых строгих глазах мелькала улыбка.

Ей втайне было приятно, что на нее, простую бедную матроску, обращают внимание даже и господа.

Обыкновенно Груня не отвечала ни на какие вопросы и предложения уличных ухаживателей.

“Пускай себе брешут, ровно собака на ветер!” – думала она и, не поворачивая головы, шла себе своей дорогой. Но если уж к ней очень приставали, она внезапно останавливалась и, прямо и смело глядя в глаза обидчикам, строго и властно, с какою-то подкупающею искренностью простоты, говорила своим резким, низким голосом:

– Да отвяжитесь, бесстыдники! Ведь я мужняя законная жена!

И, невольно смущенные этим открытым, честным взглядом, полным негодования, бесстыдники поворачивали оглобли, рискуя в противном случае познакомиться с самыми отборными и язвительными ругательствами, а то и с силой руки недоступной матроски.

Через год после того, как Груня приехала из деревни к мужу в Кронштадт, уже все искатели уличных приключений знали тщету своих ухаживаний и оставили матроску в покое.

II

В это майское погожее утро Груня возвращалась домой с узлом грязного белья, только что взятого ею от одной бабыни, на семью которой она постоянно стирала. Узел был большой, а дорога – не близкая. Несколько утомившаяся после быстрой ходьбы, матроска свернула в глухой переулок и остановилась передохнуть. Опустив узел наземь, она помахала вытянутой затекшей рукой и затем стала оправлять сбившийся на голове платок, как к ней совсем неожиданно приблизился, семеня ногами и стараясь выпятить грудь колесом, старый, высокий и худой адмирал.

Это был адмирал Гвоздев, свершавший обычную свою утреннюю прогулку, известный под кличкой “генерал-арестант”. Так звали его и матросы и офицеры за его жестокое обращение с людьми, обращавшее на себя внимание даже и в те жестокие времена. Кроме жестокости, Гвоздев был известен и своим развратом, и об его неразборчивых уличных похождениях, об его часто меняющихся экономках ходило в Кронштадте много анекдотов. Он был вдовец, и никто из детей не жил с ним. Все разбежались.

Пораженный красотой матроски, адмирал как-то значительно крякнул и, озираясь по сторонам, спросил:

– Ты, милая, кто такая?

– Матроска, ваше превосходительство! – строго отвечала

Груня, поднимая узел.

– Г-гм... матроска? Прехорошенькая ты матроска. Как тебя звать?

– Аграфеной люди зовут, – еще строже промолвила Груня.

– Ты что же это с узлом? Белье стираешь, что ли?

– Точно так...

– А какого экипажа твой муж?

– Двенадцатого...

– Моей, значит, дивизии... Ты приходи-ка, Груня, к своему начальнику... Знаешь, где адмирал Гвоздев живет? Тебе всякий покажет. Ты будешь стирать мое белье. Так приходи сегодня же... слышишь?.. Останешься довольна, красавица! – продолжал старик, многозначительно понижая голос. – Да ты что букой смотришь? Сробела, что ли? Ишь ведь какая ты вся беляночка!.. Какие у плутовки свежие щечки... А шея просто сливочная!

И, впившись жадным, похотливым взглядом своих замаслившихся маленьких темных глаз, которые на своем веку видели немало запоротых людей, на крепкую высокую грудь матроски, поднимавшуюся под тонким ситцем платья, адмирал протянул свою старческую, костлявую и сморщенную руку и длинными вздрагивающими пальцами ухватил за подбородок матроски.

Резким движением Груня отдернула голову и гневно проговорила:

– Рукам воли не давай, ваше превосходительство!

И с этими словами двинулась.

Адмирал понял это как хитрый маневр лукавой бабенки и, стараясь нагнать матроску, говорил:

– Ишь какая сердитая... скажи пожалуйста... Да ты стой, не уходи, глупая... Слышишь, остановись... Что я тебе скажу...

И матроска вдруг остановилась, полная какой-то внезапно охватившей ее решимости. Остановилась и глядела адмиралу прямо в глаза.

Должно быть, старик не обратил внимания на выражение ее лица, потому что, обрадованный, взволнованно шептал ей:

– Ты будь поласковее, глупая матроска!.. Ты мне очень понравилась, слышишь?.. Я и твою судьбу устрою и твоего мужа не забуду... Поступай ко мне в прачки!.. У меня будешь жить... И стирать не заставлю... Понимаешь... Одну тебя как кралю... и награжу... Согласна?

Адмирал почти не сомневался, что столь блестящие для матроски предложения будут приняты.

Но вместо согласия Аграфена гордо приподняла голову и негодуя проговорила вздрагивающим от волнения голосом:

– Тебе бы богу молиться, тиранство свое над людьми замаливать, а не за бабами бегать!.. Песок сыплется, а он на грех обещать... Стыда в тебе нет, старый пес... Тьфу!

Она плюнула и, бросив на адмирала уничтожающий, пол-

ный ненависти и презрения взгляд, пошла прочь.

На мгновение старый адмирал ошалел – до того неожиданны были для него дерзкие речи. Сообразив, наконец, их значение, он побагровел и, сжимая кулаки, задыхающимся голосом прохрипел обычный свой окрик, разрешавший все его недоразумения:

– Запорю!

Но, поняв в ту же минуту, что запороть эту матроску никак нельзя, он в бессильной ярости выругал ее площадными словами и тихо поплелся назад, как-то беспомощно и растерянно поводя губами своего беззубого рта, распаленный еще более презрительным отказом этой красивой матроски.

– Ишь ведь подлый! – повторяла взволнованная, негодующая Аграфена.

Она первый раз встретила того самого генерал-арестанта, о котором не раз слышала от мужа, знала, какую ненависть возбуждает этот начальник, и рада была, что проучила “старого пса”.

“Пусть, мол, от матроски услышал то, чего никто ему, злодею, не скажет!”

Аграфена завернула наконец в небольшой глухой Дунькин переулок, направляясь к ветхому деревянному домику, в котором квартировала, как в нескольких шагах от дома увидела откуда-то появившегося и шедшего ей навстречу, поскрипывая сапогами, молодого, пригожего и щеголеватого писаря в новеньком сюртучке, в фуражке набекрень, с брон-

зовой цепочкой у борта и с перстеньком на руке.

Давно уже заметила матроска этого писарька, юного, почти мальчика, черноглазого, с румяными щеками и небольшими усиками, который в последнее время что-то очень часто встречался с ней. То он появлялся на улице непременно в то время, когда она шла, и следовал за ней на почтительном расстоянии, то вдруг, обежав улицу, шел навстречу, потупляя при приближении глаза. То он поджидал ее, притаившись где-нибудь у ворот, и робко и восторженно, совсем не так, как другие, провожал ее восхищенными глазами. Когда случалось перехватывать строгий взгляд матроски, хорошенький писарек смущенно, словно виноватый, опускал глаза и так же быстро исчезал, как и появлялся.

Груня, разумеется, понимала, что эти частые встречи не случайны, и не сердилась. Порой даже, завидя писарька, усмехалась про себя, польщенная и несколько удивленная таким упорным и деликатным ухаживанием. Этот черноволосый, кудрявый паренек казался ей тихим и робким, ровно овца. Ни разу не позволил он себе какого-нибудь охальства. Слова не вымолвил, взгляда дерзкого не кинул... Только глаза пялит.

“Пусть, глупый, шляется, коли хочет. Не гнать же его с улицы... Да и за что?” – не раз думала про себя Груня и только боялась, жалея писарька, как бы муж не поймал его около дома и, обозленный, в пылу ревности, не прибил бы. С него это станет. Бывали дела. Страх какой он ревнивый!

И теперь, бросив на писарька едва заметный быстрый взгляд, она увидела его робкое, грустное лицо. С самым серьезным видом, не обращая на него ни малейшего внимания, молодая женщина прошла мимо и невольно покраснела, чувствуя на себе горячий, ласкающий взгляд писарька.

– И впрямь дурень! – весело шепнула она, скрываясь в воротах.

А писарек из кантонистов, Васька Антонов, известный среди кронштадтских горничных как неотразимый сердцеед, победоносно закрутил свои усики и, принимая свой обычный веселый, несколько хлыщеватый вид, весело зашагал по улице, полный уверенности, что в конце концов, играя в любовь, он победит неприступную матроску. Только муж скорей ушел бы в море, а уж он сумеет “оболванить” эту строгую деревенщину. Тоже фордыбачится... Воображает, что если мужнина жена, так уж к ней и не подступись!

– И не таких оболванивал! – самоуверенно вымолвил хорошенький писарек и оскалил крепкие белые зубы, вспоминая свои многочисленные победы, стяжавшие ему кличку “подлеца Васьки”.

III

Весь день Аграфена стирала белье на дворе, близ крыльца, с ожесточенным усердием женщины, привыкшей к работе и любящей работу. Мысли ее заняты были бельем и разными домашними делами. “Писаренок”, как называла она своего робкого поклонника, промелькнул раз-другой в ее голове, возбуждая в матроске чувства жалости и опасения, как бы муж не увидел дурака мальчишку, если он повадится шататься около дома. Надо сказать, чтобы он не шатался, этот писарек... Нечего-то дурить ему!

В полдень она сделала передышку, чтобы пообедать тюркой и куском вчерашнего мяса, и снова принялась за работу.

Убравшись с бельем, она сбегала в лавочку за колбасой и ситником, поставила самовар, собрала на стол и в ожидании мужа, усталая, присела на стул в своей небольшой комнате, которую они нанимали у старой вдовы-матроски, торговавшей на рынке.

Эта низенькая комната с русской печью, покосившимися углами и двумя окнами почти в уровень с немощным переулком, поражала своею чистотой. Видно было, что хозяйка привыкла к опрятной домовитости и порядку и заботилась о том, чтобы придать своему скромному жилью уютный вид.

Ситцевый чистый полог разделял комнату на две части. В одной был небольшой стол, покрытый цветным столеш-

ником, несколько стульев, шкафчик с посудой, гладильная доска и корзина с просушенным бельем. За пологом главное место занимала большая двухспальная со взбитой периной кровать, прикрытая разноцветным ватным одеялом, с горкою подушек в свежих наволочках. Большой красный сундук с бельем и платьем, запертый висячим замком, дополнял убранство спальни. Прямо против кровати, в переднем углу, была устроена божница с несколькими образами, суровые лики которых выдавали старообрядческое письмо. Перед образами теплилась лампада и стоял ряд тонких свечей желтого воска, которые зажигались по праздникам.

Покатый пол, сиявший белизной своих выскобленных и чисто вымытых досок, украшался “дорожкой” из черной смолистой пахучей пеньки. Самодельные ситцевые шторы закрывали окна от любопытных глаз, и на подоконниках красовались горшки с цветами, преимущественно геранью. А на выбеленных стенах висело несколько лубочных картин духовного содержания и – между ними – большая раскрашенная литография, изображающая грешников в аду.

В начале седьмого часа пришел Григорий, вспотевший, красный и усталый после целого дня работы в гавани, на бриге “Вихрь”, на котором Кислицын был рулевым. От него сильно пахло смолой. Ею пропитаны были и его широкие жилистые руки, и его рабочая, когда-то белая парусинная голландка, и штаны.

Он был совсем невзрачен, этот приземистый, широкопле-

чий, совсем белобрысый человек лет тридцати, с рябоватым лицом, опущенным светлыми баками, маленьким широким носом и толстыми губами, прикрытыми жесткими рыжими усами. Вместо бровей у него были припухлые красные дуги. Ноги были слегка изогнуты.

Но и в выражении голубых серьезных глаз и скуластого круглого лица, и во всей фигуре матроса было что-то располагающее, внушающее к себе доверие, что-то сильное и вместе с тем скромное. Чувствовалось, что это – человек честный и стойкий.

Глаза его радостно сверкнули при виде жены. В этом взгляде ясно светилась бесконечная любовь.

– Здорово, Груня! – ласково, почти нежно проговорил матрос.

– Здравствуй, Григорий!

Голос матроски звучал приветливо, но не радостно. Спокойный взгляд, которым она встретила мужа, не был взглядом любящей женщины.

Григорий пошел в сени мыться, затем переоделся и, выйдя из-за полога в красной ситцевой рубаше и чистых штанах, присел к столу, видимо довольный, что находится дома, в этой уютной, чисто прибранной комнате, и что жена побаловала его и колбасой и ситником. И всегда так она его балует, когда он к вечеру возвращается домой. Заботливая.

Он закусывал молча и, когда они стали пить чай, сообщил ей о том, как сегодня старший офицер на бриге бесновался,

полоумный, и выпорол пять человек.

– А ты, Груня, стирала?

– А то как же? Целый день стирала.

И, помолчав, прибавила:

– Давече утром, как несла белье, этот ваш генерал-арестант в переулке пристал...

– Ишь подлая собака! – зло проговорил Григорий, и довольное выражение мигом исчезло с его лица. Он нахмурился. – Что ж он говорил тебе?

– Звал к себе жить... Ты, говорит, одному мне стирать станешь белье. Судьбу нашу с тобой обещал устроить... Останешься, говорит, довольна...

– А ты что? – нетерпеливо перебил Григорий, бросая строгий и пытливый взгляд на жену.

– Известно что! – сердито ответила Аграфена, видимо обиженная и этим вопросом и подозрительным взглядом мужа. – Небось так отчекрыжила старого дьявола, что будет помнить!

И она подробно рассказала, как “отчекрыжила”.

– Ай да молодца, Груня! Так ему и надо, подлецу! И тиранство ему вспомнила?.. И старым псом назвала? Ну и смелая же ты у меня матроска! – весело и радостно говорил Григорий.

Его лицо прояснилось. Большие голубые глаза любовно и виновато остановились на Груне.

Но прошло минут пять, и он снова нахмурился и спросил:

– А прощальщика ветрела сегодня?

– Какого такого прощальщика? – в свою очередь спросила Аграфена, поднимая на мужа холодный, усталый взгляд.

– Будто не знаешь? – продолжал матрос.

– Ты говори толком, коли хочешь человека нудить.

– Кажется, толком сказываю... Писаренок паскудный не услезивал тебя?

– А почему я знаю?.. Не видала я твоего писаренка... Отвяжись ты с ним. Чего пристал!

Раздражительный тон жены и, главное, этот равнодушно-холодный взгляд, который она кинула, заставил Григория почувствовать еще более мучительное жало внезапно охватившей его ревности.

И он значительно проговорил, отчеканивая слова:

– Я этому писаренку ноги обломаю, ежели он будет шататься около дома... Вчерась иду домой, а он тут, как бродяга какой, шляется... Как заприметил меня, так и фукнул... А то морду его бабью своротил бы на сторону... И беспрменно сворочу... Слышишь?

– Не глуха, слышу.

– То-то...

– Да ты чего зудишь-то? И все-то в тебе подлые мысли насчет жены... Постыдился бы... Кажется, я по совести живу... Ничего дурного не делаю... Веду себя честно, а ты ровно полоумный накидываешься... А еще говоришь: любишь. Разве такая любовь, чтобы человека мучить?

Григорий сознавал правоту этих горячих упреков. Он знал, что жена безупречна, и все-таки временами не мог отделаться от подозрительной ревности. Беспредельно любивший жену, он чувствовал, что она не так любит его, как любит ее он, чувствовал это и в ее постоянно ровном обращении и в сдержанности ее ласк, и это-то и питало его ревнивые чувства, несмотря на безукоризненное поведение жены.

Ему стало стыдно за то, что он безвинно обидел Груню, и он сказал:

– Ну, ну, не сердись, Груня... Я ведь так, шутю... Я знаю, что ты правильная жена.

И, словно бы стыдясь обнаружить перед ней всю силу своей ревливой и страстной любви, он принял умышленно равнодушный и властный вид хозяина и примолк.

– Однако и спать пора. Завтра до свету встать! – проговорил он, окончив чаепитие. – Спасибо, что накормила и напоила... Идем, что ли, Груня? – ласково прибавил он, вставая из-за стола.

– Ступай спи, а мне еще убираться надо.

– Уберись и приходи... Нечего-то полуночничать!

Матрос пошел спать, а матроска словно бы нарочно долго убиралась с посудой.

– Ты что ж это, Груня? Долго будешь убираться? Иди спать, коли муж приказывает. Мужа слушаться надо! – раздался нетерпеливый голос Григория.

– Иду, ну тебя!

Молодая женщина с равнодушным, усталым и покорным выражением на своем красивом лице, потушив лампу, тихо скрылась за пологом.

Скоро в полутьме комнаты, чуть-чуть освещенной мерцанием лампы перед образами, раздался громкий храп матроса.

IV

Григорий был женат около пяти лет.

Помор Архангельской губернии, он, как и большая их часть, придерживался старой веры. В церковь ходил только по обязанностям службы и втайне молился по-своему. Однако в нем не было нетерпимости раскольника-изувера, и он не гнушался есть с матросами из одного бака и не считал их погаными ². Зато не пил вина и табаком не занимался.

Исправный и добросовестный, Григорий был отличным матросом и с первого же года поступления на службу назначен был рулевым.

Еще бы!

С малых лет Григорий каждую весну отправлялся с отцом и двумя работниками на Мурман, где в одной из закрытых бухт стоял на зимовке небольшой, допотопной конструкции, палубный карбас с необходимою снастью для ловли трески. Этот карбас принадлежал отцу и составлял главный источник существования семьи. Его оснащивали, проконопачивали, просмаливали, чинили старенькие парусишки и, помолясь богу и святым угодникам, уходили на промысел и про-

² ...он не гнушался есть с матросами из одного бака и не считал их погаными. – Старообрядцы считали официальную – или, как они ее называли, никонианскую – церковь еретической, отступнической, а всех ее прихожан – оскверненными, “погаными”.

водили иногда в неприветном Ледовитом океане по целым неделям, не приставая к берегу.

Всего навидался и испытал Григорий в эти опасные плаванья.

Случалось, и не раз, что смелые промышленники бывали на волос от смерти и уже готовились к ней, когда свирепая северная буря застигала в океане, далеко от берегов, маленькое старое суденышко с разорванными парусами и носила его, беспомощное бороться с жестоким ураганом, по седым, высоким волнам, грозившим ежеминутно поглотить маленькую скорлупку с несколькими выбивающимися из сил смелыми пловцами.

В таких случаях приходилось только надеяться на бога да на Николу-угодника, вызволяющего отважных моряков, которых нужда и бесшабашная отвага, соединенная с невежеством, выгоняют на подобных отчаянных посудинах в свирепый океан.

И старик помор, отец Григория, смело, не теряя присутствия духа, правивший рулем, чтоб не поставить судна поперек волнения, в такие тяжкие часы становился напряженнее и бывал молчаливее и суровее, чем обыкновенно. В его красном, обветрившемся лице стояло выражение какой-то угрюмой покорности человека, готового к смерти и встречавшего ее не раз лицом к лицу. Только губы его шептали молитву Николу-угоднику, да временами смягченный взгляд его зорких глаз любовно и тоскливо останавливался на сынишке.

Много гибнет каждое лето таких поморских судов вместе с людьми, но Никола-угодник как-то вызволял из всех опасностей карбас, на котором находился Григорий. Буря затихала и давала возможность бежать к берегу под наскоро зачиненными парусами. И моряки, словно бы изумленные, что остались живы, только безмолвно крестились и снова принимались откачивать воду, набиравшуюся в расшатанное бурю судно.

Случалось, что этих мореходов-мужиков, не имевших, конечно, ни морских карт, ни компаса, о которых и не слышали, а полагавшихся на свое морское чутье, на глаз да на милосердного бога, вместо Мурмана заносило на Новую Землю, и там, на безлюдном острове, в каком-нибудь пустом становище прежде зимовавших промышленников, приходилось зимовать, питаясь чем бог пошлет и что раздобычит ружьишко, и ждать вешнего солнышка, чтобы пуститься в обратный путь к Мурману и дать с оказией весточку домой, что, мол, живы и к осени, если бог даст, будем в деревне.

Эта суровая, полная постоянной напряженной борьбы и опасностей жизнь сделала Григория смелым моряком, приучила быть скромным и правдивым – с морем какая же может быть ложь? – закалила в нем твердый, решительный характер и развила привычку к той молчаливой созерцательности, которая нередко встречается у людей, находящихся в частом и близком общении с природой.

Правя рулем в тихую погоду, когда остальные спали в кро-

шечной тесной каютке, пропитанной запахом трески, или сидя на отдыхе на палубе, после нескольких часов ловли рыбы, Григорий невольно наблюдал и этот беспредельный холмистый океан с далеко раздвинувшимися рамками горизонта, и это высокое небо, и это никогда не заходящее холодное полярное солнце, и эти роскошно-яркие снопы северного сияния. И, подавленный величием и таинственностью всего окружающего, он еще более проникался весь религиозным чувством страха и почтения к творцу, и в то же время в нем появлялась какая-то пытливая мечтательность, бессознательно требовавшая и от этого океана, и от неба и солнца разрешения вопросов и сомнений, неопределенных и неясных, но назойливых и смущавших его впечатлительную душу.

В такие минуты душевной приподнятости он спрашивал себя: отчего людская неправда царит на земле, когда господь так всемогущ? Зачем он, всевидящий и милосердный, попускает насилие и зло, корысть и несправедливости?

Но тихо рокочущий океан не давал ему ответа. Не разгоняли сомнений ни солнце, ни небо...

И он уходил спать неудовлетворенный, но с твердым намерением самому жить правильно.

Как-то шутя Григорий выучился сам читать и писать и любил особенно читать евангелие и разные духовные книги.

Когда старика отца стали одолевать ревматизмы, двадцатилетний Григорий без него ходил на Мурман и промышлял

на своем суденышке, такой же смелый и хладнокровный, каким был и его отец. Возвращаясь осенью домой, он приносил всегда хорошую выручку за проданную рыбу, и старик отец особенно любил своего младшего сына.

Ему пошел двадцать четвертый год, и он еще не знал совсем женщин, сохраняя целомудрие, как однажды отец сказал ему, оставшись с ним наедине:

– Пора тебе и жениться, Гришуха. Я уж тебе и невесту высмотрел... Знаешь Марию Коновалову из Засижья?

Григорий вдруг изменился в лице и проговорил:

– Не неволь, батюшка. Нежелательна мне эта невеста.

– По какой такой причине? – спросил, нахмурившись, отец, привыкший к безусловному повиновению детей.

– Нелюба она мне, – почтительно, но твердо отвечал сын.

– Как окрутишься – полюбится. Девка молодая, чистая, ядреная... И из хорошего дому... Коноваловы, сам знаешь, первые мужики в Засижье.

– Неповадна она мне... Не по сердцу! – снова решительно заявил Григорий.

– Уж не подыскал ли ты себе сам невесты? Так сказывай, коли что... Слава богу, давно в лета вошел...

И старик пытливо заглянул в лицо своего любимца.

Ни отец, ни мать, ни сестры, ни брат, да и никто на селе не догадывался о том, что Григорий, обыкновенно застенчивый и избегавший общества баб и девок, словно бы боявшийся их, был пленен пригожей и степенной Груней, одной из до-

черей бедного вдового мужика-односельчанина. И восемнадцатилетняя Груня, на руках у которой было главным образом все домашнее хозяйство, за вечными заботами да хлопотами, кажется, тоже не замечала, как странно глядит на нее Григорий при встречах и как ищет их, не решаясь, однако, не только намекнуть ей о своей любви, но даже заговорить с ней. Охватила его страсть к Груне как-то внезапно, – точно ожгло всего и осветило внутри, – когда он вернулся поздней осенью с Мурмана и однажды встретил ее на улице.

Григорий признался отцу, что действительно наметил себе невесту, и прибавил:

– Ежели она согласится и ежели будет ваше с матушкой родительское благословение, то я женюсь с охоткой, батюшка.

Он проговорил эти слова, по-видимому, спокойно, но чуть вздрагивающий голос и заалевшее лицо выдавали его волнение.

– Ишь ведь скрытный какой! Никто и не приметил, как ты девку подыскал... Кто ж это твоя пава? Признавайся... Ежели девка хорошая, супротив твоего хотенья не пойду... Здешняя, что ли?

– Здешняя... Аграфена Синицына.

– Что ж, Аграфена девка правильная, работающая и рассудливая... Золото-девка, можно сказать. Только дом их вовсе бедный... Бесприданница твоя Аграфена, а то чем не невеста...

– Небось не в бедный дом войдет...

– Да я не перечу... Бери себе Аграфену.

Просиявший Григорий поблагодарил отца за согласие и вдруг, внезапно омрачаясь, проговорил:

– Только пойдет ли за меня?

– Отчего не пойдет? – воскликнул старик, словно бы обиженный за сына и удивленный его сомнению. – Всякая с радостью за тебя пойдет. Ты, слава богу, парень у меня не худой... Промышляешь не хуже меня... Смышленный и душевный парень... Ни табаком, ни вином не занимаешься... Не бойсь, Аграфена не дура... Должна пойти. А ежели что, отец прикажет, так не посмеет против воли... Я сам сватом пойду...

– Только силком не надо... Ежели, значит, против воли...

– Да разве ты с ней не обладил?

– То-то не решался! – застенчиво проговорил Григорий.

– Эх ты тюлень, тюлень! Всем-то ты взял, Гришуха, а вот только стыдливый какой-то... Точно малый ребенок... Ну, ну, не сумлевайся... Сама охоткой пойдет.

Отец Аграфены с радостью принял предложение.

Не протестовала и Груня.

Хотя она и не чувствовала особенной склонности к Григорию, но он противен ей не был. И ни для кого не билось сильнее ее сердце, и ничей взгляд не смущал ее, не испытывавшей еще любви. Замуж выходить во всяком случае надо, а Григорий парень тихий, добрый, непьющий и по всему селу

считается лучшим промышленником.

В тот же вечер Григорий с какою-то торжественною серьезностью спросил молодую девушку:

– Волей идешь за меня, Груня? Не принудили?

– А то как же? Неволей бы не пошла! – отвечала Груня.

Обрадованный, счастливый Григорий стал говорить ей, как любит он ее и как будет беречь свою “ласточку”, и, пользуясь темнотою, порывисто привлек ее к своей груди и стал осыпать ее лицо безумными поцелуями.

Но Груня, покорно отдаваясь этим поцелуям и слушая эти застенчивые излияния, не находила отклика в своем сердце и, казалось, была более удивлена, чем счастлива.

V

Григорий прожил с молодой женой зиму и весной, по обыкновению, отправился на Мурман. Плавая на своем карбасе, он тосковал по Груне и с нетерпением ждал осени.

Пришла осень, он возвратился домой, но недолго пришлось ему наслаждаться радостью быть вместе с любимой женой.

В 1853 году пронеслась зловещая весть о войне. Приуныли в деревнях старики и старухи, приуныли молодые парни. Весть эта говорила о солдатчине с ее жестокостями того времени, о смерти, о разорении, о разлуке с близкими на целые двадцать пять лет. Человек словно бы отрывался от родины и становился чужим для нее.

Вести подтвердились. Приехал исправник и прочитал бумагу об усиленном наборе. Григория, как младшего сына, забрали и назначили матросом.

Отчаяние Григория, внезапно оторванного от деревни, от любимого промысла, от молодой жены, было беспредельное. Старик отец не выдержал и прослезился, прощаясь с сыном навсегда. Доживет ли он до его возвращения, и возвратится ли он когда-нибудь? Мать голосила. Одно только несколько утешало Григория, – надежда выписать к себе Груню.

Прошел год службы.

Молодой матрос зарекомендовал себя опытным моряком

и старался трудолюбием и исправностью избежать позорных наказаний. Он так педантично нес службу и так вел себя, что к нему не могли придраться. Скоро он осмотрелся в новом своем положении и после года разлуки выписал наконец из деревни жену, скопив несколько деньжонок и за винные порции, которых не пил, и от получек за работу, которой он занимался в свободное от службы время. Он был недурной столяр и нередко чинил разную мебель у господ офицеров, довольствуясь тем, что дадут.

Поместил он приехавшую Груню не в казарме, где было отдельное помещение для женатых нижних чинов, а на вольной квартире, наняв комнату у одной землячки, старухи – вдовы матроса Ивановны. Григорий ни за что не хотел жить с женою в казарме, среди шума и свар, постоянно бывших в этом длинном коридоре, по бокам которого расположены были маленькие комнаты. В каждой из них помещались иногда по две или по три семьи, и об уюте в них нечего было и думать. Да и слишком свободные нравы матросских жен пугали степенного матроса. Он был как-то дежурным в этом бабьем царстве и видел сцены пьянства, свар, разврата и драк мужей с женами и с любовниками. Лучше подальше от греха. Лучше Груне жить отдельно, тихо и спокойно, и он будет приходить по вечерам в свой угол, чистый и домовитый, будет говорить с Груней и пить чай с глаза на глаз, не чувствуя над собой чужих наблюдений и не слыша вечной соседской ругани. Содержать жену он, слава богу, сможет; не особенно

много и нужно, чтобы прожить. Десять рублей они вместе заработают.

Вскоре Григорий, чинивший стул у своего экипажного командира, порекомендовал его супруге свою жену как хорошую и аккуратную прачку. Барыня согласилась попробовать, осталась довольна, и Аграфена стала стирать на всю многочисленную семью экипажного командира. Затем нашелся и еще дом, где Аграфена стирала. Она не прочь была забрать и еще работы, но муж не позволял, находя, что жена и без того утомляется. Вместе с тем Григорий раз навсегда запретил Аграфене брать в стирку белье от холостых офицеров.

Через несколько времени комната Аграфены приняла тот уютный, опрятный вид, который свидетельствовал и о некотором достатке и о привычке хозяев к чистоте и порядку. Появились и занавески на окнах, и цветы, и смолистый мат, сделанный Григорием, и комод, и шкафчик его же работы. Аккуратная Аграфена, видимо, заботилась о том, чтобы комната была игрушкой.

И Григорий приходил по вечерам из казармы в эту чистую, светлую комнату, где, в ожидании его, на покрытом скатерткой столе уже стоял самовар и приготовлена закуска, радостный, счастливый и признательный к своей молодой, расторопной хозяйке, присутствие которой делало эту комнату, казалось, еще светлее.

Григорий любил жену со всею силою своей глубокой, страстной и ревнивой природы. Он не показывал ей этого,

словно бы стыдясь своего влюбленного чувства, но эта любовь невольно светилась в его глазах и сказывалась в нежной заботливости о жене и в необыкновенно мягком отношении. Никогда он ее не ударил, никогда не поносил грубым ругательством и был ласков и кроток.

Аграфена понимала эту горячую любовь и, тронутая ею, старалась угождать мужу, уважала и ценила его, но чувствовала, что в ней нет той страсти, которою был охвачен муж. Сердце ее не трепетало при ласке мужа: она спокойно переносила разлуку с ним по летам, когда он уходил в плавание. Порой на нее нападала какая-то безотчетная грусть, какие-то неопределенные желания охватывали ее душу, и что-то захватывающее, светлое и счастливое восставало перед ней и проносилось отдаленным лучезарным призраком.

В такие минуты она испытывала неудовлетворенность своей жизни, была молчалива и холодна с мужем и находила, что низенький, белобрысый Григорий с большой головой и красными пятнами вместо бровей совсем неказист.

И, случалось, что-то неприязненное к нему невольно закрадывалось в ее сердце.

Она гнала прочь эти мысли, как наваждение дьявола, плакала и молилась, припоминала, какой хороший человек Григорий, как он бережет и любит ее, и, полная раскаяния, старалась быть внимательнее и нежнее к мужу, который словно бы весь светлел, счастливый и радостный, при малейшем проявлении нежности своей Груни. Но и в такие минуты

беспричинной тоски ничей мужской образ не являлся перед ней, и даже в мыслях она никогда не представляла себе, чтобы она, “мужняя жена”, строгая раскольница, полная страха божия, могла впасть в грех.

Никого она не любила.

И Григорий подчас втайне мучился, чувствуя, что в привязанности жены нет той страсти, какую был проникнут весь он. И холод ласк и спокойное отношение к нему по временам возбуждали в нем подозрения, что жене люб кто-нибудь другой.

Тогда он, обыкновенно мягкий и кроткий, вдруг прорывался и делал резкие сцены ревности и, зная, как заглядываются на его красавицу жену мичмана, оскорблял ее с негодованием безумца, ослепленного ревностью, со страстностью горячо любящего человека, не находящего взаимной страсти.

Но спокойно-суровый отпор честной женщины, возмущенной оскорбительными подозрениями, эти ясные, светлые глаза, загоравшиеся негодованием и презрением, отрезвляли его, и он, радостный и виноватый, сам же стыдился своих подозрений. Он верил, что никто ей не люб. Он знал, что Груня слишком честна и богобоязненна, чтобы когда-нибудь “нарушить закон”. Недаром же недоступность ее была известна всем в Кронштадте, и матроска Груня пользовалась общим уважением. Никто про нее не мог сказать дурного слова.

И Григорий после таких сцен старался задобрить жену, был еще кротче и нежнее и с большею страстью осыпал ее ласками, забывая в удовлетворенном чувстве мужа нравственную неудовлетворенность. Он усыплял ее тем, что приписывал сдержанность Груни в проявлении чувства к нему не недостатку его, а свойству ее характера.

Его только огорчало, что у них нет детей.

VI

Лукавый “писаренок”, избалованный своими успехами среди горничных и нянек и умевший действительно “облецивать” их, заставляя потом проливать слезы, – продолжал упорно ухаживать за Груней, разыгрывая не без искусства роль почтительного и робкого влюбленного.

Таким способом он надеялся тронуть недоступную матроску и прибавить новые лавры к своему победному венцу кронштадтского “обольстителя”.

В последнее время он участил свои встречи с Аграфеной. Он выведал, когда она ходит за бельем и когда относит его, шатался по ранним утрам на рынке и чуть ли не каждый день попадался ей на глаза.

С тонким расчетом продувной бестии, имевшей, несмотря на молодые годы, значительный опыт в любовных делах, он по-прежнему не позволял себе с матроской ни малейшей наглости, какую вообще отличался в отношении со своими поклонницами.

С Аграфеной, напротив, он был сама невинность. Ни разу не заговаривал с ней, не пускал ей комплиментов и только восторженно, словно бы очарованный, взглядывал на нее своими черными красивыми глазами и тотчас же смущенно опускал их, если, случалось, перехватывал ее быстрый и строгий взгляд.

Он понимал, что встречи эти не сердят матроску, но в то же время видел, что они нисколько не подвигают его к цели.

Казалось, она решительно не обращала внимания на пригожего, франтоватого писарька, словно бы не замечая этих частых встреч. Ни разу не усмехнулась, не подарила сколько-нибудь обнадеживающим взглядом, так что ему не представлялось даже удобного случая огорошить матроску теми затейливыми любовными словечками, на которые он был такой мастер и которыми покорял многих горничных.

Это невнимание раздражало самолюбивого, самонадеянного писарька, и он стал упорнее в своих выслеживаниях и назойливее. Случалось – когда матросы были на работе – он сторожил Аграфену в переулке и неожиданно встречал ее у самого дома, что, видимо, не нравилось матроске.

Мало ли что могут подумать соседи, заметивши писаренка?

Однажды, часу в шестом вечера, она вышла из ворот и направилась в лавочку купить кое-что для мужа, который должен был вернуться из гавани.

Возвращаясь домой с покупками, Груня чуть не столкнулась у ворот с писарьком, точно выскочившим из-под земли.

Это, наконец, озлило матроску. Неравно еще и муж увидит и подумает, что она приваживает писарька.

“Надо отвадить этого дурня раз навсегда”, – решила она и, внезапно остановившись, сердито и сухо кинула ему:

– Ты чего у чужих ворот околачиваешься да в глаза ты-

чешься?..

– Я так-с, мимо шел, прогуливался, значит, Аграфена Ивановна! – с напускною робостью отвечал Васька Антонов, снимая с писарской галантностью фуражку и отставляя мизинец правой руки, чтобы показать аметистовый перстенок.

“Ишь и имя мое вызнал!” – подумала, невольно краснея, матроска и еще строже промолвила:

– То-то ты больно часто мимо ходишь... Ты лучше ходи другой дорогой, а то как бы тебе, пареньку, не помяли боков. Мой матрос искровянит тебя в лучшем виде...

“Васька-подлец” вскинул на Груню глаза и, понижая свой мягкий, вкрадчивый тенорок, проговорил с восторженною решимостью отважного человека, не могущего более скрывать своих чувств:

– Из-за вас, Аграфена Ивановна, я жизни готов решиться, а не то что страшать меня, с позволения сказать, боками. Никого я не боюсь, потому как, осмелюсь вам доложить, нет сил моего терпенья, чтоб не видеть вашего очаровательного лица... Только взглянуть, и я получаю блаженство очарованья... Простите мою смелость, Аграфена Ивановна, но я не могу удержать крика влюбленного сердца...

Пораженная неожиданным признанием, матроска на мгновение словно бы отдалась обаянию этих смелых речей и слушала их, точно какою-то нежную, неведомую доселе музыку, ласкающую, проникающую в самую душу и заставляющую замирать сердце.

И вдобавок, как пригож этот молодой, кудрявый писарек! Какою искреннею страстью дышат его слова! Как умоляюще и робко глядят на нее его черные, нежные глаза.

Но мгновение прошло, и Груня словно бы испугалась и устыдилась охватившего ее настроения.

Она приняла еще более суровый вид и, опуская голову, чтобы скрыть заалевшее лицо, произнесла резким голосом:

– Ты языком-то не брещи, непутевый! Не шатайся здесь, слышишь?

– Не будьте столь жестоки, Аграфена Ивановна! Позвольте хоть издали ласкать взор лицезрением вашей андельской красоты... Выслушайте, Аграфена Ивановна...

– Не мели пустого... Нечего мне дурака слушать! – строго перебила его матроска. – Говорят, не бегай за мной. Не услеживай... А не то – смотри! – грозно прибавила Аграфена.

– Что ж, если такое будет ваше повеление, то мне остается предаться своей злосчастной судьбе! – продолжал писарь, стараясь выразиться как можно “забористее”. – Прощайте, Аграфена Ивановна! Отныне исчезну я из ваших прекрасных глаз, в которых искал забвения от горестей жизни. Прощайте, жестокая!

Писарек произнес эти слова не без некоторого драматизма, свидетельствовавшего об его сценических способностях, и, бросив нежный взгляд на хорошенькую матроску, почтительно поклонился ей с видом человека, сраженного печалью, и быстро отошел, направляясь в сторону, противополо-

ложную той, откуда мог появиться муж Аграфены, встречи с которым Васька предусмотрительно избегал.

Очутившись вне всякой опасности, угрожающей целостности его красивой физиономии, Васька замедлил шаг и, не совсем довольный результатами своего любовного красноречия, все-таки, улыбаясь, проговорил вслух:

– Небось восчувствуешь!..

И в тот же вечер хвастливо говорил в казарме своему приятелю, угреватому и неказистому писарю Иванову:

– А матроску эту самую сегодня я, братец ты мой, пригвоздил!..

– В каких это смыслах понимать? – не без тайной зависти спросил Иванов.

– Объяснился, значит. Так, мол, и так... Одним словом, огорошил в лучшем виде.

– А в морду не получил?

– В морду? Это которые ежели дураки пусть в морду от баб получают, а я, слава богу, понятие насчет их имею! – не без хлыщеватого апломба проговорил Васька и самоуверенно закрутил усики.

– А за матроской небось два месяца зря околачиваешься?

– Уж больно занозиста бабенка, а главная причина: в задор вошел, вот что я тебе скажу. Можешь ты это понять? А горничные эти все да куфарки – надоели. Ты им одну любовную штучку загнешь, а уж они, подлые, и льнут... Выбирай – не хочу. А такой добиться, как Грунька, лестно и стоит по-

бегать...

– Так и добьешься! – почему-то противоречил, и даже с чувством злобы, приятель.

– Дай, брат, срок... Небось ей лестно было слушать, как я ей сегодня любовные слова говорил.

– Не очень-то, я думаю, слушала...

– Врать не стану... быдто и не очень. “Не бреши, говорит, писаренок... Не смей, говорит, услезивать за мной...” А все-таки загвоздка вышла! – уверенно прибавил Васька.

– Никакой загвоздки не вышло. Лучше не срамись, брось!.. Эта Грунька и мичманов отчесывала... Не облестить тебе матроски...

– Бросить? Нет, брат, бросить теперь никак невозможно...

– Да ты сдурел, что ли, по матроске?..

– То-то понравилась... Теперь, значит, самая настоящая игра начинается, а ты вдруг: брось! Нет, я не брошу... Не отстану, хочь она и грозит, что муж бока намнет... Это один разговор... а с ней, братец ты мой, совсем особенную линию надо вести. Другую обнял, да и “айда, мадам!”, а с ней так нельзя... Она – баба строгая, норовистая. Ее, значит, надо облещивать по всей форме, не торопясь... Небось, братец, я знаю, как...

– И хвастаешь ты только, Васька! Никогда не облестить тебе Груньки. Не по твоему рылу!

– Дай только мужу уйти в море, так увидишь...

– Ловок ты, Вась, насчет женского ведомства, что и гово-

речь, но только тут как есть тебе крышка. Останешься в дураках!

– Я-то? Давай на парей! – задорно предложил Васька.

– Продуешь парей-то!

– Давай, говорю!

– С превеликим моим удовольствием. На что?

– На три пары пива. Идет?

– Хочь на всю дюжину. Не мне платить!

– Заплатишь!

– А какой, значит, срок?

– Через месяц Грунька не устоит против меня! – самоуверенно воскликнул писарек.

– И все-то ты врешь... все-то ты врешь, подлец! – с ожесточением проговорил Иванов и в эту минуту ненавидел от всей души своего приятеля, желая ему потерпеть неудачу и после зло посмеяться над ним.

“Не думай, дескать, что уж ты такой ловкач, черт бы тебя взял!”

VII

Аграфена вошла к себе сердитая, словно бы чем-то недовольная и несколько взволнованная.

“Ишь тоже с чем пристал!” – порывисто проговорила она и с каким-то ожесточением принялась вдруг чистить самовар, хотя он и без того был достаточно чист.

Вычистивши самовар, она его поставила, затем с тою же порывистостью собрала на стол, расставила тарелки со снедью и, так как больше нечего было делать, присела на стул и старалась думать о том, как придет муж и обрадуется, что все у нее готово.

“Небось голодный. Намаялся день на работе!”

Но вместе с мыслью о муже в голову ее лезли мысли о писарьке, который так складно говорил о том, как он ее любит и готов из-за нее решиться жизни. И ничего ему дурного не нужно, – не то что другим мужчинам, – только издали на нее глядеть.

Так с ней никто никогда не говорил.

“Жестокая!” – пронеслись в голове слова писаренка, и она пожалела, что так сурово обошлась с ним.

И как он заробел, бедный!.. Какой ушел тоскливый!

Сама того не замечая, Аграфена, тронутая этим страстным призывом любви, отдавалась мечтам о писарьке. И они уносили ее далеко-далеко из этой комнаты... И муж казался

ей таким постылым.

Какое-то неведомое, сладкое и в то же время жуткое чувство охватило матроску. Ей чего-то хотелось, душа куда-то рвалась, потребность ласки и любви сказывалась в этом замирании сердца, в какой-то жгучей истоме.

И пригожий, кудрявый, черноглазый писарек, нежный и робкий, стоял тут, перед ней, и словно манил ее к себе, суля ей любовь и счастье. Его ласковые слова так и звучали в ее ушах, и ей хотелось бы слушать их без конца, слушать и целовать эти очи, целовать эти уста, отдаваясь его горячим ласкам...

Матроска поймала себя на таких мыслях и вдруг ужаснулась.

О господи! О чем она сейчас думала, она – честная, верная жена?!

Суеверный страх, стыд и раскаяние овладели Груней. Ее честная натура возмущалась против таких помыслов. Ничего подобного никогда с ней не было, а теперь? Это дьявол смущает ее!

И, полная ужаса, она бросилась за полог и, опустившись на колени перед образами, горячо молилась о том, чтобы пресвятая богородица простила ее, великую грешницу.

Молитва несколько успокоила Груню.

Писаренок казался ей теперь ненавистным, как виновник ее преступления. Попадись только он ей на глаза – она на него и не взглянет, на подлого, а если он опять начнет усле-

живать – плюнет ему в морду. Не смей, мол, бегать за женщиной женой!

“И как только могли прийти ей в голову такие подлые мысли?” – думала она, полная стыда и негодования, и вспоминала, какой у нее хороший и добрый Григорий. И как он ее бережет, как любит, как всегда ласков с ней!..

И, когда в седьмом часу явился Григорий и положил ей на стол сверток с пряниками, Груня как-то особенно приветно и ласково встретила мужа.

Она видела, как от ее ласковых слов светлело лицо Григория и его добрые глаза еще нежнее и любовнее смотрели на нее, и она, словно бы чувствуя потребность загладить вину, заботливее угощала его, и ей казалось в эти минуты, что Григорий ей мил и дорог и что она его очень любит.

Груня расспрашивала его о делах на бригае и, между прочим, осведомилась, скоро ли они уйдут в море.

– Завтра вытянемся на рейд и ден через пять уйдем...

– Я тебе рубаху сошью.

– Спасибо, Груня...

– А заходить в Кронштадт будете?

– То-то неизвестно... А ты разве будешь скучать по муже?

– А то как же? Нешто одной весело?

– А уже как мне тошно будет целое лето без тебя, Груня!..

Если бы еще зашли в Кронштадт летом, а то, может, и не зайдем... Будем, говорят, в Балтийском море клейсеровать да когда в порты заходить.

– На берег съезжать будешь?

– Что на берегу делать? Я по кабакам не хожу да за девками не гоняюсь, как другие-прочие матросы...

– И женатые?

– А ты думала как? Это редко какой человек понимает, что ежели он в законе, то соблюдать себя должен не хуже жены. По мне, так это грех, а матрос не считает грехом... Ему, мол, ничего... Зато и матроски, нечего тоже сказать... рады, как мужья-то уйдут... Небось сама видала, какие здесь матроски?.. А ежели по совести-то рассудить, то и мужья виноваты... Сами закон не исполняют, так разве можно с жены требовать?

Григорий любовно смотрел на жену и, полный счастья, продолжал:

– Вот мы с тобой, Груня, не такие... Мы бога-то помним... закон исполняем... Живем, слава богу, по совести... Уйду я в море, и сердце у меня спокойно... Знаю, что ты верная мне жена...

– И я стыд-то, кажется, имею! – проговорила, вся вспыхивая, Груня...

– То-то и есть. И ни на кого меня не променяешь?.. Любишь мужа-то?

– Как же мужа не любить!.. И на кого же мужа менять? – горячо сказала Груня.

– И за меня можешь не сумлеваться, Груня, – продолжал Григорий, радостный от этих слов и чувствовавший потреб-

ность излить свои чувства перед любимой женой, – я тоже стыд имею... Ты вот год в деревне жила, и ни на кого я не смотрел... Ни одной бабы не знал... хучь бы их и не было... А уж теперь и подавно... Одна ты в мыслях...

“Ишь как он меня любит!” – подумала тронутая матроска и чувствовала себя бесконечно виноватой перед мужем, вспомнив, что несколько минут назад она считала его постылым.

Ей хотелось чем-нибудь доказать ему свою привязанность и ответить ласковым словом.

И она сказала:

– И у меня, кроме тебя, никого нет на мыслях, Григорий.

Сказала, и краска залила ее щеки от лжи.

А Григорий понял это как проявление страсти в жене и, необыкновенно счастливый, что она его любит, прошептал:

– Славная ты у меня, Груня!

Они долго просидели этот вечер за столом. Следующий день было воскресенье, и Григорию не нужно было идти в гавань. Они разговаривали о разных делах, о том, как Груня будет жить лето. Он наказывал ей не утруждать себя работой и не брать много стирки. У них, слава богу, есть двадцать рублей, прикопленных на черный день; можно из этих денег тратить, в случае чего. И пусть она не отказывает себе в пище, пусть ест хорошо, да когда побалуует себя ягодами да пряниками, а он за лето скопит деньжонок за винную порцию.

– А я тебе весточки о себе давать буду, Груня.

– Жалко, я не умею... А то бы я тебе отписала... Разве попросить кого написать?..

– Нет, уж кого просить!.. – не согласился на это ревнивый матрос и прибавил: – Даст бог, и придется повидаться летом... Наш капитан тоже женатый... И ему лестно навестить супружницу...

Через пять дней, рано утром, Аграфена провожала мужа до Купеческой гавани, где стоял баркас, готовый отвезти на бриг отпущенных на ночь женатых матросов.

На людях они простились без особых нежностей. Только Груня как-то особенно сильно и горячо пожалала мужу руку. Ей почему-то вдруг сделалось страшно, что он уходит и она остается одна, и слезы показались на ее глазах.

– Ну, полно, Груня... Не плачь... Лето скоро пройдет...

– Смотри, Гриша... давай о себе весточки... И почаще!.. – говорила, всхлипывая, Груня.

– Вались на баркас, ребята! – крикнул унтер-офицер. – Сейчас отваливаем!

– Прощай, Груня...

– Прощай, Гриша...

Смех и говор провожавших баб затих.

Скоро баркас был полон матросами и отвалил от пристани.

В восьмом часу утра Аграфена пошла на стену Купеческой гавани и видела, как двухмачтовый красивый бриг “Вихрь”, поставив все паруса, слегка накренившись, уходил

от Малого кронштадтского рейда.

Она возвращалась домой, по обыкновению, степенная и серьезная, ни на кого не глядя и не обращая внимания на похвалы, порой раздававшиеся ей вслед.

О писаренке она почти забыла. Он исполнил обещание и со времени последней встречи ни разу не показывался на глаза.

VIII

Прошла неделя с тех пор, как Григорий ушел на “Вихрь” в плавание. Одна знакомая матроска сказывала, что “Вихрь” во все лето ни разу не зайдет в Кронштадт. Ей один писарь старый говорил, который “все знает”.

Писаренок точно в воду канул.

Это показалось Аграфене чем-то странным, ей как будто было даже обидно, что он так добросовестно исполнил ее же приказание: “не услезивать”.

Если писаренок не “брехал” тогда зря, то мог бы раз-другой как будто ненароком встретиться.

А то бегал-бегал два месяца, пялил глаза, да и был таков! Какая же это любовь?

“Уж не случилось ли чего с ним?” – беспокоилась порой Груня.

И во время своих выходов на улицу она нет-нет да украдкой и взглядывала: не идет ли навстречу этот пригожий, аккуратный, молодой писарек?

И матроска досадливо отворачивала взор, не встречая своего поклонника ни на улицах, ни на рынке.

“А может, его назначили на какой-нибудь корабль и его нет в Кронштадте?”

Так порой думала матроска, но думы о писарьке не были продолжительными и не переходили в греховные мечты, как

было раз. Дьявольского наваждения, слава богу, не было, и Груне не в чем было каяться.

Просто ей жаль этого робкого паренька, которого она так строго “отчекрыжила”, вот и все. Что может быть другого? Не льститя же она, в самом деле, на хорошенького писаренка? Она и по имени его даже не знает. Она, слава богу, любит и почитает своего матроса и помнит, что мужняя жена. Небось закон соблюдает, и ни в чем ее упрекнуть нельзя.

Подобными объяснениями она успокоивала себя, когда замечала, что в голову ее подчас являлись мысли о писаре. Ей казалось, что она вовсе забыла о нем думать – мало ли этих прощелыжников-писарей в Кронштадте, – а он нет-нет да и вспомнится, и словно бы от этого воспоминания и тепло и грустно на душе.

Почти уверенная, что поклонник ее в море, матроска чуть не ахнула, когда однажды, часу в восьмом утра, отправившись на рынок, она увидала этого самого писаренка, шедшего навстречу.

Сердце ее забилося радостно и тревожно. Она чувствовала, что лицо ее заливается румянцем. Ей вдруг сделалось весело, и погожий июньский день ей показался еще светлей и погожей.

И он шел не спеша, с опущенной вниз головой, точно подавленный каким-то горем, и не поднимал глаз.

Стараясь скрыть охватившее ее радостное волнение, Аграфена приняла строгий вид, опустила глаза и прибавила

шагу. Вот-вот они сейчас сойдутся и разойдутся, – он на нее и не взглянет.

“Видно, и забыл обо мне!” – подумала задетая за живое матроска, исподлобья взглядывая на писарька.

Но в ту же минуту он быстро поднял голову и, встретив ее взгляд восторженным взглядом, весь словно бы просиявший от счастья, снял фуражку и проговорил:

– Мое навеки вам низжайшее почтение, Аграфена Ивановна! Дозвольте умолить вас выслушать одно мое слово...

– Ну, здравствуй... Чего тебе надо еще? – строго промолвила Груня чуть-чуть дрожавшим голосом.

Она приостановилась и вопросительно смотрела на этого хорошенького, свежего и румяного, щегольски одетого писарька. Его большие черные глаза так и впились в ее лицо и точно ласкали своим нежным взглядом и говорили о любви.

– Как вам угодно будет, Аграфена Ивановна, но только я не могу, – начал он мягким нежным тенорком.

– Чего ты не можешь? говори толком.

– Не могу исполнить вашего повеления, чтобы не видеть вас. Терпел две недели и... нет больше сил моих... Не будьте столь ко мне жестоки... Позвольте хоть издали любоваться на вас, Аграфена Ивановна...

– Опять замолол! Не мели пустяков! – промолвила Груня, продолжая путь.

– Для вас пустяки, а для меня, может быть, решается судьба жизни! – продолжал Васька, идя рядом с Аграфеной... –

Не берите на душу греха в погибели человека...

– Отстань... Что еще выдумал?

– Вовсе не выдумал, Аграфена Ивановна... Я целых две недели, можно сказать, был в непрерывной тоске и в непрерывных мечтаниях о вас... Ни сна не было, ни аппетита. Так только поддерживал свое существование... Отмените ваше приказание... насчет моего обожания. А не то... без лицемерия вашего лица мне лучше не жить.

– Сдурел ты, что ли?..

– Помрачение форменное, Аграфена Ивановна. Первый раз в жизни почувствовал, что значит, когда обожаясь всеми нервами своего существования по гроб жизни. Дозвольте встречаться, а не то в отчаянности я могу решить себя жизни...

– Что ты? Что ты? – испуганно проговорила матроска, останавливаясь и с участием взглядывая на писарька, лицо которого в эту минуту имело самое трагическое выражение. – Как тебя звать-то? – прибавила она.

– Василием! – мрачно проговорил писарь.

– Опомнись, Василий! Не говори таких слов. Грех, большой грех!

– Вовсе я в беспамятстве от чрезмерной любви к вам, Аграфена Ивановна.

– Глупый! Разве можно любить чужих жен? Я – в законе. А ты заведи свою, да и люби... Мало ли девушек в Кронштадте.

Васька горько усмехнулся.

– Эх, Аграфена Ивановна! Может, и много их, да вы-то одни!

– Отвяжись... Не болтай... Иди, иди прочь!.. Люди увидят.

И матроска, вся взволнованная, пошла, ускоряя шаги.

– Так это последнее ваше слово, Аграфена Ивановна?

– Да чего ты от меня хочешь?

– Видеть вас, только видеть и знать, что вы не сердитесь на несчастнейшего человека!

– Да как я могу запретить дураку смотреть на себя?.. Пяль глаза, коли тебе охота... Только смотри, около дома не ходи!..

– Чувствительно благодарен вам и за то... Пречувствительно. Вы, можно сказать, вернули меня к жизни.

И с этими словами Васька взял руку Аграфены и крепко-крепко пожал ее.

– Сегодняшний день – для меня незабвенный! – прибавил он и шепнул: – Прощай, любовь моя!.. Прощай, ангел души моей!

И, приподняв фуражку, обогнал матроску и еще долго оглядывался, словно бы не мог от нее оторваться.

– Глупый! – шепнула матроска.

На душе у нее была радость. Эта любовь неволью находила отклик, и она вдруг почувствовала, что писарек ей необыкновенно мил и дорог.

IX

Молодая, впервые загоревшаяся страсть охватила молодую женщину, пробудив в ней дремавшие инстинкты. Напрасно боролась она с ней. Напрасно прибежала к заступничеству пресвятой владычицы и Николе-угоднику. Ни горячие молитвы, ни слезы, ни усердные поклоны, ни воспоминания о добром, хорошем Григорье не помогали теперь. Этот красивый писарек овладел всеми ее думами. Бессонные летние ночи были полны грез о нем. И каких грешных грез!.. И она отдавалась им в какой-то истоме, отдавалась, радостная и трепещущая, горячим поцелуям и наутро, со стыдом вспоминая о грешных снах, снова молилась.

Выходя на улицу, она теперь тщательнее заботилась о своем туалете и старалась одеться к лицу. Встреч она ждала с нетерпением, и сердце ее сильнее билось, когда писарек появлялся на дороге. И ей было грустно, когда он ее не встречал.

Но она старалась не показывать вида, что он ей так люб, и таила про себя свою любовь. По-прежнему она была серьезна и даже сурова при встречах и не допускала никакой короткости.

“Услеживая” матроску, Васька дарил ее пронзительными взглядами и при удобном случае отпускал ей чувствительные комплименты и говорил о своей любви.

– Не бреши... Не годится мне слушать! – сурово останав-
ливала его матроска.

Но Васька видел, как краснела она от удовольствия, и ре-
шил, что пора действовать более энергично.

И вот однажды днем, часу во втором, когда квартирная
хозяйка Груни сидела у своего ларька на рынке и почти все
обитатели переулка дремали после обеда, Васька осторожно
вошел во двор и тихо отворил двери комнаты.

После утра, проведенного в стирке, Груня тоже прилегла,
но сна не было. Мысли ее были заняты писарьком. Сегодня
на рынке она не видала его. Отчего это он не пришел?

– Кто там?.. Это ты, Ивановна? – окликнула Груня, слы-
шав шаги в комнате.

Ответа не было.

Тогда она вскочила с постели и, наскоро застегивая рас-
крытый воротник платья, вышла за полог.

Краска залила ей лицо при виде писарька, о котором она
только что думала.

– Ты зачем? Нешто тебя звали? – сурово проговорила
Аграфена, стараясь принять строгий вид и в то же время
оправляя свои сбившиеся волосы.

– Простите мое дерзновение, Аграфена Ивановна, – роб-
ко проговорил, почтительно кланяясь, Васька, – я на один
секунд... Шел мимо – уморился от жары и осмелился зай-
тить... Попрошу, мол, напиться... И как же хорошо здесь у
вас, Аграфена Ивановна!.. Точно в раю небесном! – приба-

вил Васька, озирая опрятную, чистую комнату.

Стараясь скрыть охватившее ее волнение, при виде этого неожиданного, но желанного гостя, матроска торопливо прошла своими маленькими босыми ногами за двери и, вернувшись оттуда с ковшиком, протянула его писарьку и сердито сказала:

– На, пей и проваливай!

Пальцы их встретились. Васька будто нечаянно придержал руку Груни в своей руке, когда брал ковшик.

– Бери, что ли, коли пить зашел! – смущенно промолвила Груня, отдергивая руку.

– Чувствительнейше благодарен, Аграфена Ивановна, что позволили утолить жажду, – позвольте пожать вашу белую ручку...

И, не дожидаясь ее согласия, он крепко пожал ей руку.

– А ковшик я сам отнесу на место.

Он вышел за двери и, возвращаясь, незаметно запер их на крючок.

– Ты зачем же вернулся? Напился и уходи с богом! – взволнованно произнесла Груня, увидав снова писарька.

– Дозвольте присесть хучь на минутку, Аграфена Ивановна. Ужаси как устал... Такая, можно сказать, угнетательная жара! – продолжал раскрасневшийся писаренок, лаская Груню загоревшимся взором. – А тут у вас такая прохлада.

– Отдыхай где-нибудь в другом месте...

– Одну минуточку...

– Уходи... уходи!.. Что люди скажут, увидавши, что ты здесь...

– И никто не увидит... Хозяйка ваша на рынке... Народ спит... А вы все: “люди”! Эх, Аграфена Ивановна! Вам, видно, нисколько не жаль человека?..

– Чего тебя жалеть-то?

– За мою такую несчастную любовь нельзя даже и секунд один побыть у вас... поглядеть на ваши чудные глазки, на ваши сахарные уста. За один поцелуй умер бы сейчас на месте, вот что... А вы столь жестоки, Аграфена Ивановна! Положим, я вам вовсе ненавистен, я это довольно даже хорошо понимаю, но неужели ненавистность так велика, что нельзя и минутки посидеть?..

Он говорил тихим, вкрадчивым голосом, не спуская с нее глаз, полных мольбы и страсти.

И красивое лицо Груни алеет все более и более. Высокая грудь тревожнее дышит из-под тонкой ткани ситца. Глаза ее уже не строго, а смущенно и испуганно смотрят на писаренка и светятся лаской.

– Глупый! С чего ты взял, что ненавистен? – как-то помимо воли ее вырвались эти слова. – Но ты уходи, слышишь, уходи!

Но Васька шел к ней.

– Уходи, говорят! – в страхе прошептала Груня, отступая назад и чувствуя, как трепещет ее сердце.

– Груня... Ненаглядная!.. Помру без тебя!

– Уходи, уходи!

В голосе ее звучала уже не угроза, а мольба.

– Ты гонишь, жестокая! А я должен страдать... Груня...

Груня! – говорил он прерывающимся голосом.

И, весь охваченный страстью, он уже был около матроски...

– Голубка моя... Радость жизни!..

– Уйди... Уйди! – повторяла она.

Но вместо того чтоб оттолкнуть его, она вдруг порывисто и страстно обвила его шею и крепко прильнула к устам пи-саренка.

Слезы лились из ее глаз, и она, забыв все на свете, шептала:

– Вася... Голубчик!.. Желанный ты мой...

X

Месяц пролетел для Груни словно бы в каком-то счастливом сне.

Эта первая настоящая любовь совсем захватила молодую женщину, и она беззаветно отдалась ей со всею силою своей страстной натуры. Она безумно привязалась к Ваське, который в ее ослепленных глазах был и красавцем, и умным, и добрым. Это было какое-то обожание впервые влюбленной женщины, рабское поклонение кумиру. Он казался ей высшим существом и все в нем необыкновенно милым.

Богобоязненная и сдержанная прежде, она теперь словно бы хотела себя вознаградить за прежнюю жизнь без любви. Она, казалось, забыла и о грехе и о муже, ни о чем не думая, ничего не пугаясь, – один Вася был для нее источником жизни и радости. Они виделись часто: позднею ночью тихо стучал он в окно, и Груня отворяла его, впуская писарька.

Она глядела ему в глаза и, казалось, готова была на все для него. Васька видел, что она “втемяшилась”, как он выражался, и пользовался своим положением. В скором времени Груня передала ему все деньги, которые у нее были, и заложила все свои вещи. Она притихала, когда Васька был не в духе, и терпеливо сносила его ломание. А он таки ломался над любящей женщиной, и ему доставляло какое-то удовольствие дразнить ее, возбуждая ее ревность.

И Груня по целым дням плакала, когда, случалось, Васька не приходил. Но стоило ему прийти, стоило сказать ласковое слово – и она вся светлела и спрашивала:

– Любишь ты меня?

– Не любил бы, небось не ходил... А ты думала как? – прибавлял насмешливо писарек, сам увлеченный страстью красавицы матроски.

Но скоро увлечение его стало проходить. Он все реже и реже стал заходить к Груне и, когда та начинала упрекать, отвечал:

– Хочу – пришел, хочу – нет... Я – вольная птица...

– Так-то любишь?.. А что говорил?

– Мало ли что скажешь бабе... Не всякому слову верь...

– Вася! Да бог-то у тебя есть?

– Слава богу, крещеный...

Груня горько плакала. Тогда он утешал ее ласками, брал последние деньги и уходил...

Наступил август месяц, и Васька совсем перестал ходить к Груне. Во-первых, боялся он, что скоро вернется муж и как бы ему не попало от него, а во-вторых, он и охладел к своей любовнице, – слишком уж она “всерьез” к нему была “привержена”, и это его пугало. Вдобавок он уже начал приударивать за франтоватой горничной из Петербурга, поступившей к одному адмиралу и успевшей уже обратить на себя внимание господ писарей и своим задорным личиком, и фансонистыми костюмами, и шляпкой с цветами, и высокомер-

ным отношением к ухаживателям.

“Дескать, я на всех вас ноль внимания!”

В качестве кронштадтского “сердцеда”, Васька перенести этого не мог и принялся бомбардировать адмиральскую горничную своими любовными словечками.

Груня загрустила. Почуяло ее сердце, что Васька разлюбил ее, и она первые дни ходила как потерянная. Неужли так и бросил, не простившись даже? И она жадно искала с ним встреч. Но он и не глядел на нее, раз даже, проходя под руку с расфуфыренной чернявой горничной, усмехнулся и что-то прошептал своей спутнице на ухо, показывая на Груню.

Глубоко оскорбленная вернулась Груня домой, и ей все еще не верилось, что можно быть таким бессовестным человеком.

– За что? За что? – шептала она, и горькие слезы катились по ее щекам.

На следующий день, отправляясь за бельем, она встретила Ваську.

– Вася! – позвала она.

– Ну, что тебе? – нетерпеливо проговорил Васька.

– И тебе не стыдно? – кротко спросила матроска.

– Чего стыдиться-то? И вовсе мне не стыдно! – нахально проговорил он, улыбаясь глазами.

– Зачем же ты облещивал?.. Говорил, что жисти решишь-ся... Значит, все врал?..

– А ты, деревня, и поверила?.. Думала, я и взаправду из-

за тебя жизни решусь... Держи карман...

Груня стала белее полотна и наивно спросила:

– Зачем же ты врал?

– Известно зачем... Чтоб облестить... Ты такая недотрога была... Фу ты на... Не подходи... А я, значит, и подошел... Поняла теперь?.. А затем имею честь кланяться, мадам, мне не по пути!..

Груня вернулась домой, но не могла приняться за обычную работу.

Точно завеса спала с ее глаз, точно она очнулась от сна, когда припомнила все случившееся. На нее напал ужас. Господи! Что она сделала? Из-за кого приняла столько греха? И оскорбление поруганной любви, и презрение к себе, и стыд перед мужем, и страх перед грехом – все это слилось в одно чувство беспредельного отчаяния, охватившего холодом ее душу.

Как нарочно в голову ей приходили мысли о муже. Так-то она отплатила за его любовь, за его нежные заботы. Только теперь, при сравнении с этим “подлецом”, поняла она, как Григорий ее любит и какое для него предстоит горе. Как она взглянет Григорию в глаза, когда он вернется? Что скажет ему? Она, мужняя жена, она, до сих пор соблюдавшая себя, могла сделаться полюбовницей!..

О господи, какая она великая грешница, и нет ей проще-

ния!

И она с искаженным страданиями, побледневшим лицом поднялась и, пройдя за полог, с воплем тяжкого горя пала ниц перед образами.

Тщетно искала в молитве успокоения бедная женщина. Беспросветный душевный мрак охватил матроску, имевшую несчастье искренне увлечься.

XI

– Что ж, Иванов, припас деньги на пиво-то? – весело спрашивал Васька своего приятеля, гуляя с ним вскоре после разрыва с Груней в Кронштадтском летнем саду.

– Какое пиво?

– Забыл, что ли, уговор насчет Груньки?

– Да ты нешто выиграл парей? – проговорил, зеленея от завистливой злобы, неказистый и худой белобрысый писарь.

Васька протяжно свистнул.

– Еще когда... Куда раньше срока...

– Что ж ты раньше не хвастал и не требовал парея? – недоверчиво спросил Иванов.

– Нашел желторотого галчонка! Разве мне неизвестна завистливая твоя душа? Беспременно ты подстроил бы мне какую-нибудь пакость. Пошел бы к ней и начал бы страшать, чтобы самому попользоваться... Ты на это ловок, дьявол... Пакостил мне не раз... Научил, слава богу...

– А теперь не боишься?

– Сделай ваше одолжение. Можешь теперь застрашивать сколько угодно матроску... Месяц почти с ней путался, с меня довольно. Надоела! – небрежно проговорил Васька и даже зевнул для большего эффекта, считая это почему-то необходимым для такого неотразимого обольстителя. – Теперь, братец мой, я новую горничную адмирала Рябчикова обра-

живаю... Видал, что ли, эту пронзительную брунетку? То же, я тебе скажу, занозистая мамзеля. Так по-французски и сыплет... Ну да я ее скоро укрошу... шельму! – с невозмутимым нахальным апломбом прибавил Васька и прищурил глаза, оглядывая проходивших горничных.

– И все-то ты врешь, все-то ты врешь, подлец, насчет Груньки! – каким-то сдавленным голосом прохрипел Иванов.

– Смотри не подавись от злости... Небось завидно? – рассмеялся Васька, привыкший к этим выходкам Иванова. – А пиво все-таки ставь!

– Чем же ты докажешь, что не врешь?

– Охота мне перед тобой врать – скажите пожалуйста!..

– А все врешь! – настойчиво и злобно повторил Иванов, хотя в душе и уверен был, что подлец Васька не врет. – Докажи, тогда поставлю пиво.

– Да вот спроси хоть Федосеева. Он как-то запопал меня, как я от Груньки в окно под утро лез... Тогда поверишь?..

– И спрошу... Эка бесстыжий ты дьявол!.. Облестил честную бабу и бросил!.. И за что только такого подлеца бабы любят! – с негодованием воскликнул Иванов.

– Небось ты бы не облестил?.. Ходу только нет при твоей уксусной харе, ты и урчишь на других...

– И попадет же тебе когда-нибудь, Васька. Здорово попадет! Муж-то этой Груньки ревнивый и отчаянный, я тебе скажу, матрос. Он не стерпит!

Васька, видимо, струсил, судя по мгновенно изменившемуся выражению лица.

– Почем он узнает?

– Небось найдутся подлые люди, которые скажут! – значительно протянул Иванов.

– Да брось ты каркать, воронья душа... Я знать ничего не знаю и никакой, мол, Груньки не касался... отверчусь в случае, ежели, какая дрязга выйдет. Валим, брат, лучше пиво пить, коли ты при деньгах. А брунетка, видно, не придет... Обещалась быть в саду, и нет ее! Должно, задержало что.

Иванов согласился поставить в счет проигранного пари несколько бутылок пива, и, когда Васька подпил, он с каким-то болезненным развращенным любопытством расспрашивал о подробностях его отношений с матроской и хотя злился, слушая о том, как привязана была Груня и какая она, можно сказать, “огонь-женщина”, но все-таки не переставал расспрашивать, полный злобы и зависти к этому “подлецу Ваське”, пользующемуся жизнью, веселому и довольному, тогда как сам он ни разу не испытал расположения ни одной женщины – напротив, только возбуждал одно отвращение.

На другой же день Иванов выследил Груню, когда она вышла из дома, и пристал к ней.

– Напрасно вы о Ваське-подлеце сокрушаетесь... Он забыл и думать о вас, Аграфена Ивановна, – говорил он своим скрипучим, точно сдавленным голосом, следуя за матроской. – А я бы вас, значит, любил по-настоящему... Что вы

на это скажете?

Груня только побледнела и шла, не отвечая ни слова.

– Какой же ваш будет ответ?.. Позвольте придти к вам с визитом... Не откажите... Я болтать не буду, не то что Васька, никто не узнает!.. Вы даже и отвечать не хотите?.. Так, может, вам лучше ответить и согласиться... Право... хуть одно свидание назначьте! – продолжал писарь, оглядывая стройную фигурку матроски своими маленькими подслеповатыми жадными глазками. – А не то можно и мужу вашему объяснить, как вы Ваську по ночам в окна пускали... Небось попадет вам в таком случае... и Ваське будет! Так какое ваше решение? Когда прикажете придти?..

Матроска вдруг обернулась и, вся бледная от негодования, оглядела тщедушного, неказистого писаря таким презрительным, уничтожающим взглядом, что тот весь как-то съежился, и его прыщеватое, землистого цвета лицо с уродливо большим носом, нависшим над вздутыми губами, покрылось красными пятнами.

– Отстань! Не то плюну в твою поганую харю, – проговорила матроска и, отвернувшись, пошла далее.

Писарь не решился более преследовать матроску. Он только в бессильной злобе крикнул ей вслед позорное ругательство и потом шепнул, словно утешая себя:

– Попомнишь ты поганую харю! Попомните вы оба с Васькой!

На другой же день, сидя за столиком в экипажной кан-

целярии, он писал своим четким красивым писарским почерком письмо Григорию, в котором от имени доброжелателя извещал о том, что “его супруга находилась в любовной связи с писарем 12-го флотского экипажа Васькой Антоновым в течение месяца и продолжала бы оную, если бы Васька не бросил Аграфену Ивановну, обобравши от нее все деньги, которые мог выманить по своей подлости. И многие вещи, как-то: два новых платья и шубка супруги вашей заложены для своего милого дружка, заслужившего такую любовную приверженность, что они принимали Ваську почти что каждую ночь у себя на квартире, впуская и выпуская счастливого полюбовника в окно. Все сие доподлинно верно и сообщается вам, Григорий Федорович, дабы вы знали, как верна вам ваша неблагодарная супруга и какой подлый соблазнитель есть писарь 12-го флотского экипажа Васька Антонов”.

Иванов писал это письмо с злобным удовольствием мелкой душонки, готовой мстить другим за свое ничтожество и за свои житейские неудачи. С таким же чувством удовлетворенного автора он перечел свое анонимное произведение и, вложив его в конверт, крупными буквами надписал: “На бриг “Вихрь”, старшему рулевому Григорию Федоровичу Кислицыну”.

Оставалось узнать, где в настоящее время находится “Вихрь” и в какой порт нужно адресовать, чтобы письмо скорее дошло, и Иванов, отпросившись у письмоводителя отлу-

читься на полчаса, сбегал в штаб и там от знакомого писаря узнал, что “Вихрь” скоро зайдет в Гельсингфорс и простоит в этом порте неделю.

Письмо было в тот же день сдано в штаб для отправки, после чего Иванов почувствовал себя в хорошем и веселом настроении человека, свершившего какое-нибудь доброе дело. И вечером в казарме он был необыкновенно оживлен и даже добродушен, дружески беседуя со своим приятелем Васькой. Он обещал поставить ему остальные три бутылки проигранного пари завтра и вообще выказывал ему самое приятельское расположение: хвалил его, что не зевает с “бабами”, и удивлялся разнообразию его талантов. Он и на гармонии отлично играет, и “романцы жестокие” отлично поет, и умеет, шельма, к начальству подольститься и лодырничать, когда другие должны работать.

– Одно слово, счастливчик ты, Вася! – весело и добродушно говорил Иванов, распивая с приятелем чай.

– Да что это ты нонче такой веселый, Иванов? ан где с матроской сговорился?

– Ну ее, твою матроску!.. Не с моей физиономией... Да я и не лщусь... Больно угрюмистого характера... Ну и муж у нее пресердитый.

– Так кухарчонку какую приметил?

– И куфарчонки, Вася, никакой не приметил, а так, значит, нашла веселая линия... Не все же скучать... Так-то, Вася...

И Иванов рассмеялся, показывая ряд черных гнилых зубов, а в голове его пронеслась мысль:

“Ужо будет тебе от матроса. И не ждешь, как он твою смазливую рожу на сторону свернет!”

И он снова рассмеялся и стал представлять, как у них в канцелярии ругался сегодня письмоводитель.

XII

Благодаря хвастовству Васьки и злостным сплетням его приятеля слухи о связи Аграфены Кислицыной с писарьком быстро распространились по казармам и на рынке.

Все злорадствовали, особенно гулящие матроски и торговки рынка. Все словно бы торжествовали, что Грунька, считавшаяся недоступной, свихнулась.

– Вот тебе и верная мужняя жена! Такою тихоней представлялась, а поди ж ты!..

– А гордячка какая была! Я, мол, в законе... Ко мне, мол, не приставай... А сама такая же, как и другие. Чего только фордыбачилась! Точно цаца какая!

– Крепилась, носилась со своей славой и... “мое вам почтенье!”

– Это подлец Васька ее облестил...

– Кому же другому? Против этого лукавого писаренка ни одной бабе не сустоять. Слова у него против баб есть... Одурманивает, шельма!

Подобные восклицания раздавались на рынке, как только донеслась туда весть об этой истории. Первым вестовщиком был Иванов. Все торговки интересовались этой новостью, все спрашивали одна другую, каждая прибавляла что-нибудь свое, и в конце концов о матроске сложилась целая легенда. Она-де, тихоня, мало того что принимала к себе

Ваську в окно, еще бегала к нему в казармы, бесстыжая... Насилу Васька от нее отвязался. Как только Ивановна ничего не примечала?

Ивановна, вдова-матроска, имевшая ларек на рынке, умная и добрая старуха, искренне расположенная к Груне и ее мужу, горячо защищала свою жиличку, когда при ней ее бранили, хотя и догадывалась, что с Груней случилось что-то недоброе. Недаром она так изменилась в последнее время – затосковала.

– Все-то этот поганый писаришка врет! Долго ли на бабу наплести? А вы и рады зубы скалить да языком брехать! – горячилась Ивановна, защищая Аграфену от общих нападков и глумления.

– Видели, Ивановна, люди видели, как Васька-подлец от Груньки из окна вылезал! – с какою-то страстностью говорили торговки.

– Кто видел?! Врете вы все, злыни! И тот, кто говорит, что видел, брешет как пес! Слава богу, я знаю Груньку. Она баба совестная, правильная... Она и генерал-арестанту и прочим офицерам на их подлости отказывала, а не то что связаться с щенком... Она не чета каким другим-прочим.

– Ты, Ивановна, от старости, видно, ничего не видела, а Федосеев-писарь – зрячий, он небось сам видел, как Васька лез. Твоя Грунька почище других-прочих будет... Другие-прочие начистоту, а Грунька тишком да из себя быдто неприступную валяет, фальшит, значит... А ты не фальшь!

Известно, без мужа летом молодой бабе скучно!.. Так ли я говорю, бабочки? – с циничным смехом заметила толстая, белотелая, вся в веснушках, “рыжая Анка”, матроска-торговка, известная разнообразием и обилием своих любовных авантюр.

– Это верно, Анка!

– Матросы по портам гуляют, а матроскам нешто убиваться из-за них...

– Жирно будет!

И среди этих восклицаний раздался веселый смех молодых баб.

– Вас не перекричишь! Больно горласты! Тьфу!

И Ивановна с сердцем плюнула и, сердитая, примолкла, отвернувшись к своему ларьку.

Груня скоро почувствовала перемену отношений к себе.

Вскоре после оскорбительного предложения Иванова ей делались и другими лицами такие же оскорбительные предложения, и к ней на улицах стали снова приставать, и уже гораздо нахальнее, с разными двусмысленными шуточками, которые явно намекали на писарька. На рынке ее встречали насмешливыми улыбками и при появлении шушукались. Даже в доме у экипажного командира, где барыня обыкновенно особенно ласково говорила с матроской и всегда приказывала поить ее чаем, и там, казалось Груне, на нее смотрели как-то иначе, и барыня как будто стала суше.

И бедная матроска и сама ниже опустила голову, и уж не

смотрела, как прежде, прямо и смело всем в глаза, и избегала выходить на улицу без крайности. День-деньской она стирала, а к вечеру, усталая, горячо молилась и ложилась спать.

Но сон не скоро смежал ее глаза. Самые безотрадные мысли приходили к ней в голову, молитва не успокаивала ее смятенной души, полной отчаяния, и она считала себя великой грешницей, которой нет прощения.

XIII

В один из таких вечеров, когда Аграфена сидела со своими печальными думами за столом, лениво отхлебывая из блюбочка чай, в комнату к ней вошла Ивановна.

Это была высокая рябоватая старуха с зоркими, умными и добродушными глазами, придававшими ее красноватому от загара и покрытому морщинами лицу выражение чего-то значительного, умного и приятного. Сразу чувствовалось, что эта старуха, проживши долгий век, не растеряла сердечной доброты и в то же время должна была хорошо понимать людей.

– Чай да сахар, Груня! – проговорила она, входя в комнату и крестясь по направлению к образам. – Вот я опять пришла проведать тебя, милая... Одной-то в своей клетушке будто и скучно...

– Спасибо, Ивановна... Чаю выкушай...

– Пила, милая, только что пила, как с рынка вернулась...

– Чашечку?

– Ну, разве чашечку... для компании.

Несколько времени обе женщины молча отхлебывали чай. Старушка Ивановна несколько раз взглядывала с выражением ласки и участия на грустное, словно бы закаменевшее лицо Аграфены, похудевшее и осунувшееся точно после тяжелой болезни, и, поставив на стол выпитую чашку и кате-

горически отказавшись от другой, проговорила своим старческим, несколько певучим и тихим голосом:

– А я тебе, старая старуха, знаешь что скажу, Груня?.. Напрасно ты так уж убиваешься в своей отчаянности. А отчаянность – грех и на беду натолкнет... вот что. Изведешь ты себя, болезная. И то, на что ты стала похожа?

– Тяжко, Ивановна...

– А ты богу молись.

– Молюсь, а все нет покою... Стыдно и вспомнить, что я натворила... Сама знаешь. Видно, господь прощения не дает такой грешнице...

– И не таких грешниц господь прощает... Он, батюшка, милосердный... это ты напрасно говоришь... И не такая ты грешная, как о себе полагаешь... Совесть-то в тебе совестливая – ты и изводишься да думы думаешь... Эх, Груня, Груня! Кто из баб-то в грех не впадал!.. Ты вот от своей вины всю душу свою измотала, а другая нагрешит и забыла... В том-то и горе твое, милая... Ну, спокаялась – и будет... Господь-то тебя десять раз простил, потому и вина-то твоя, ежели правильно судить, небольшая...

Аграфена удивленно подняла на Ивановну свои грустные серые глаза, точно не понимая, как это такая почтенная старуха может говорить, что ее вина небольшая.

– Ты что так смотришь?.. И вовсе даже небольшая, – продолжала Ивановна с каким-то подкупающим спокойствием, – ведь ты этого самого подлеца, что тебя облестил своими

подлыми словами и потом же, мерзавец, ославил по всему городу, наверно, любила ровно бы как обезумевшая... Так ли я говорю?

– Так, Ивановна! – прошептала, краснея от стыда, Груня.

– И допречь того ни к кому такой приверженности не имела!

– Нет...

– То-то оно и есть... А выдали тебя, глупую девку, за Григория, и не было к нему никакой сердечной горячности... Что за Ивана, что за Петра, все равно тебе было. Так ли понять надо!

– Так, Ивановна...

– Я небось все вокруг примечаю... Видела, как вы живете... Почитать-то ты почитала Григория, угождала ему – человек-то он хороший, – ну и, как правильная баба, закон свой исполняла... А все-таки душа твоя ровно тосковала... Силком ведь не полюбишь хоть самого распрекрасного что ни есть человека... И жила ты, я тебе скажу, без смуты, пока сердце твое не захотело любви и молодая кровь не взбунтовалась... Тут уж, милуша, редкая баба сусоит... Всякой пожить хоть минутку в охотку... Ты не от озорства на грех пошла, а от кипучего сердца... Так какая ж твоя большая вина?.. Коли и была вина против “закона”, ты избыла вину-то... И всякий человек с рассудком, который бабу понимает, должен простить... Так-то, Груня!.. Брось, милая, изводиться!.. Поверь, я правильно тебе говорю! – заключила старуха, лас-

ково улыбаясь своею широкою, доброю улыбкой.

Однако эти утешающие слова не внесли в сердце Груни примирения, и она промолвила:

– Спасибо на ласковом слове, Ивановна... Добрая ты... не осуждаешь, а сама небось так, как я, не поступала...

– Эх, Груня, один бог без греха! – протянула как-то загадочно старая Ивановна. – Может, я хуже тебя грешила... Тоже не по воле замуж выдали... Тоже кипучее сердце было... Ну, да что вспоминать!.. Что было, то было... Забудь и ты...

– То-то не забыть, Ивановна... А главное, как я на Григория взгляну! Сама знаешь, как он меня любит... Что с ним-то будет, как он узнает?

– А зачем ему знать?

– Как зачем?.. Должна же я ему открыться...

– И вовсе не должна! – горячо возразила Ивановна. – Почему должна? Чтоб развередить человека, да еще такого характерного, как Григорий?.. Ты свою вину ему выложишь, тебе, положим, легче, а ему-то каково?.. Еще добро бы ты продолжала хороводиться, а то все кончено, отгуляла и отмучилась, подлеца вовсе забыла, стала еще более почитать мужа и... на-кось, съешь: чего, мол, я набедокурила на твою голову! Терзайся, мол, любезный супруг... Кушайте на здоровье!.. А ведь мужчина за бабий грех зол... Он тут и рассудок весь свой мужчинский теряет из-за своей обиды... Как, мол, я неуютен бабе-то? И как она смела, такая-сякая?.. С такими долго ли до греха... Положим, коли любит – простит,

а всячески в ем эта самая память, что ты его обескуражила, навек останется... И пойдет расстройка. И он завсегда в сумлений, а ты, права – не права, а завсегда виновата... Особенно, когда муж ревнивый... Тогда не дай бог! Нет, Груня, боже тебя сохрани... Лучше молчи, а не кайся... Богу покажась, и довольно... Нечего зря мужа нудить!..

Старуха произнесла эту тираду с каким-то особенным одушевлением и с тою убежденностью, которая будто бы намекала, что Ивановна по собственному опыту знает, как неудобно каяться мужу в своих грехах.

По-видимому, и эти веские доводы не вполне убедили Груню. Она хоть и молчала, не желая противоречить старухе, но душа ее протестовала против лжи.

Ивановна заметила тщету своих уверений и, искренне желая спасти и Груню от будущей “расстройки”, неминуемой, по ее мнению, в случае признания такому характерному и ревнивому мужу, как Григорий, и самого Григория от горя и обиды, которые могли довести его бог знает до какой беды, – самоотверженно решила, в виде последнего аргумента, припомнить давно прошедший эпизод из ее собственной супружеской жизни.

– Ты, как посмотрю я, не веришь старухе? – возбужденно проговорила Ивановна. – Так погляди!

И с этими словами она сдернула с головы платок и, нагнув свою заседевшую голову и приподняв жидковатую прядку волос, показала большой и глубокий белеющий шрам неда-

леко от виска.

– Видела? – спросила она, снова надевая платок.

– Видела.

– Что, небось ловко съезжено?.. Еще слава богу, что жива осталась. Два месяца в госпитале пролежала. Дохтура говорили, что черепу повреждение вышло... Если бы, говорят, еще чуточку, то сразу дух вон...

– Кто ж это тебя, Ивановна?

– Известно кто! Муж, царствие ему небесное! – с чувством проговорила Ивановна и набожно перекрестилась.

– За что же это он тебя? – спрашивала Груня, все еще не догадывавшаяся, какое отношение имеет этот шрам к ее собственному положению.

– А за свое же безумство, за свое, милая... Тоже была в твоих, примерно, годах за матросом и тоже была замуж отдана, как и ты, безо всякой приверженности. Однако себя соблюдала до поры до времени... А пришла пора, мой-то ушел в плавание, а тут подвернись такой же подлец, вроде Васьки... “Агаша да Агашенька... андел...” ну, одним словом, все эти мужчинские подлости свои повторял. Я и развесь уши... И показался он мне в те поры самым желанным человеком на свете, этот унтерцер. Ну и втюрилась... Не ем, не сплю, только бы его увидеть... Известно, наша сестра если втюрится, то лишится всякого рассудка... Души в ем не чаю... И не было бы ничего, если б этот подлец отстал... Проплакала бы я глаза и шабаш... Так нет! И он свою линию

вел... знал, чем облестить... Тоже прикинулся, что в отчаянности... Я и пожалей... А коли наша сестра втюрится да пожалеет... известно, что выйдет... Ну и вышло. Хороводились мы так лето, унтерцер и отстал... А тут муж вернулся... Я сгоряча бух ему в ноги. “Так и так, мол, виновата я была, закон нарушила... Простите, говорю. Больше не буду”. А он, толком не выслушавши, хватъ кочергу да со всей мочи... Потом бегал в госпиталь, каялся и прощал – только, говорит, поправляйся... Но с тех пор – на что верна была я жена, а мой матрос – царство ему небесное! – чуть что, сейчас драться... И такая расстройка пошла, что не дай бог. Натерпелась я, пока мы оба в лета не вошли. И еще сам меня виноватил. “Ты, говорит, дура, чего мне винилась! Нешто, говорит, лестно мне знать, как мою да законную супругу чужой человек в уста целовал?.. Нешто, говорит, легко мне было свою жену да убить? Дура, говорит, и есть...” И впрямь дура была! Нет, Груня, милая, не винись лучше Григорию. Коли себя не жалеешь, его-то пожалей. Жисть евойную не рушь, – закончила свой рассказ Ивановна.

– А если он стороной узнает?.. Даже один писарь грозился, что отпишет мужу...

– Это подлюга Иванов? Да Григорий не поверит подметному письму... Мало ли можно набрехать на человека... А ты отрекайся... Поверь, это мужчине приятней... Может, первое время он и будет в сумлений, а потом, как увидит, что ты ведешь себя честно да правильно, – и сумление пройдет.

И будете вы жить в ладе да в мире... Так-то, Грунюшка... Посмекни-ка, что тебе старуха советует... Ну, однако, и наговорила я тебе... Пора старым костям и на покой. Мне-то рано вставать... Прощай!.. Христос с тобой... Спи, милая, хорошо да не нудь себя думами. Все перемелется, мука будет!

– Ах, Ивановна, что-то сдается мне – не будет! – тоскливо проговорила Груня, провожая старуху.

– Будет, говорю тебе, будет... Духом-то не падай... Жизнь-то у тебя, у молодки, вся впереди... Живи только!

Ивановна вышла от жилички и перед тем, что лечь спать в своей крохотной каморке, помолилась богу за “рабу божию Аграфену” и искренне пожалела ее, уверенная, что Груня за стеной не спит, а мучается и что слова ее нисколько не подбодрили молодой женщины.

– Совесть-то в ей больно назойливая! – проговорила вслух Ивановна и решила на следующий вечер опять посидеть с Груней, чтоб не оставлять ее, болезную, одну-одинешеньку с ее кручиной.

XIV

После долгого и утомительного крейсерства в Балтийском море “Вихрь”, к общему удовольствию матросов и офицеров, целый месяц не бывавших на берегу и питавшихся солониной и сухарями, в девятом часу хмурого августовского утра подходил к Гельсингфорсу.

Ветер был довольно свежий и попутный. Слегка накренившись, “Вихрь” быстро несся под всеми своими парусами на двух высоких мачтах, держа курс на проход между скалами двух островов, на которых расположены укрепления Свеаборга – крепости, защищающей вход на гельсингфорский рейд.

Проход между островами был неширок. При малейшей оплошности рулевых, при отсутствии у капитана глазомера, при недостатке находчивости возможно было со всего разбега налететь на одну из гранитных глыб и разбиться вдребезги.

Но командир брига, молодой еще капитан-лейтенант, три года командовавший судном и знавший все его качества несравненно лучше и тоньше, чем качества своей молодой жены, разумеется, и не думал уменьшать парусов.

Он считал бы это позором, и его бы засмеяли потом товарищи-моряки, а матросы смотрели бы как на труса.

В те времена и большие трехдечные корабли ³, управляемые лихими капитанами (тогда еще ценза не было, и капитаны могли основательно изучать свои суда, долго ими командуя), влетали под брамселями и бом-брамселями (самые верхние паруса) в еще более узкие ворота кронштадтской стенки или ревельской гавани, – так с маленьким бригом и подавно было бы стыдно струсить.

И капитан совершенно спокойно стоял на мостике, смеривая зорким глазом расстояние до прохода, чтобы в необходимый момент слегка привести к ветру и влететь в середину, вполне уверенный в своем старшем рулевом Кислицыне, который стоял на штурвале вместе с тремя своими подручными.

Несколько напряженный и сосредоточенный, держа твердыми руками ручки штурвала, и Григорий, сильно загоревший, с надувшимися жилами красной шеи, оголенной из-под широкого воротника синей фланелевой рубахи, впился своими загоревшимися голубыми глазами вперед, на бугшприт брига, и с чувством удовлетворенности мастера своего дела видел, что нос судна несется по одному направлению, не уклоняясь от румба.

Он так же, как и капитан, знал до тонкости все достоинства и недостатки “Вихря” относительно послушливости его

³ Большие трехдечные корабли – парусные линейные корабли с числом орудий от 70 до 120, которые размещались на трех закрытых палубах-деках. Экипаж таких кораблей доходил до тысячи человек.

рулю и, не любивший службы и тяготившийся ею, тем не менее любил этот бриг, движение которого направлял. Любил и относился к нему почти как к живому существу, одухотворяя его качества, и порою хвалил его, а порою сердился на него.

Он изучил его в течение нескольких лет службы своей рулевым. Он знал, при каких условиях “Вихрь” артачится и рыскает по сторонам, словно бы чем-то недовольный, и тогда бранил его мысленно, ворочая штурвалом; знал, когда он так и норовит носом кинуться к ветру, чтобы заполоскали кливера, и тогда надо было не зевать и не пускать его шалить, держа руль немного на ветре; знал, наконец, когда “Вихрь” послушлив, как смышленное существо, и при малейшем движении руля нос его покорно катится в ту или другую сторону.

И тогда на некрасивом скуластом лице Григория светилась довольная улыбка, и он мысленно одобрял “доброе” судно...

Уж эти серые скалы были совсем близко под носом.

“Пора бы и спускаться!” – подумал Григорий, цепко ухватившийся за штурвал и готовый немедленно, по команде, повернуть его.

Но молодой капитан медлил, словно наслаждаясь видом своего брига, несущегося прямо на скалу острова, и с приподнятыми нервами дожидался последнего момента, после которого уже не было спасения.

И тогда, когда этот момент наступил, когда бугшприт

“Вихря” был в нескольких саженьях от острова, он нервно и громче, чем бы следовало, командовал, внезапно охваченный жутким чувством опасности:

– Право! Больше право!

Григорий в то же мгновение завертел штурвалом изо всей мочи.

И “Вихрь”, немедленно быстро покотившись носом влево, пронесся между островов, по самой середине прохода, и, салютуя из своих маленьких пушек контр-адмиральскому флагу, раздувавшемуся на верхушке мачты, вошел на геллингфорский рейд и стал на якорь вблизи от эскадры, стоявшей там.

Григорий закрепил штурвал руля, вычистил медь на нем, вытер его, потом навел глянец на компас и, справивши все свои дела, пошел на бак.

Притулившись у борта, он посматривал на город, на корабли и мысленно перенесся в Кронштадт.

“Что-то Груня? Как она поживает, родная? Чай, скучает одна, бедная!” – думал Григорий.

Он нередко тосковал по жене и с самого выхода из Кронштадта не имел о ней никаких известий. Бриг не заходил ни в один из портов, и нельзя было спросить о ней у матросов с тех кораблей, которые побывали в Кронштадте. И ему ни разу не пришлось написать ей.

Тем временем капитанский вельбот, на котором командир ходил на флагманский корабль с рапортом к адмиралу, вер-

нулся, и гребцы, явившись на баке, рассказывали, что эскадра только вчера как пришла из Кронштадта. Пять ден там стояла. Вот так счастливые матросики, которые побывали в Кронштадте, не то что они с “Вихря”.

– Ни тебе в баню, ни погулять! – жаловались гребцы.

– Ну, а Кронштадт, братцы, на своем месте стоит! – говорил молодой, здоровый вельботный старшина. – Бабы все знакомые заскучили по нас и велят всем кланяться! – прибавил со смехом матрос, обращаясь к толпившейся кучке.

– А про мою матроску ничего не слыхал, Чекалкин? Жива? Здорова? – как будто спокойно спросил, подходя к Чекалкину, Григорий и считая ниже своего достоинства обнаружить перед товарищами свое душевное волнение.

Молодой матрос как-то смущенно отвел глаза и проговорил:

– Как же, слыхал... Здорова... Матросы видели ее на рынке... – и как-то неловко замолчал.

Григорий заметил это смущение, и сердце в нем так и екнуло.

Однако он не показал и вида, что заметил что-то странное и в глазах и в тоне Чекалкина, и отошел прочь.

“Что это значит? Уж не пустили ли про Груню какие-нибудь подлые слухи? От подлых кронштадтских баб это станет. Злятся на Груню, что на их не похожа!” – думал Григорий и решил, как отпустят на берег, повидать одного старого знакомого матроса с корабля и дознаться от него, в чем дело.

Несколько взволнованный, Григорий хотел было спуститься вниз, чтоб приняться за письмо к Груне, как его нагнал судовой писарь и, подавая ему конверт, проговорил:

– Вместе с казенными пакетами с флагманского корабля и тебе пакетец есть, Кислицын. Верно, от дражайшей супруги!

– Должно быть! – смущенно ответил Григорий, обрадованный и вместе с тем изумленный письму от жены, которого не ждал, так как не хотел, чтоб кто-нибудь посторонний был посредником между ними.

Сама Груня кое-как читала, но писать не умела.

Григорий спустился вниз на кубрик и, усевшись на рундуке, вскрыл конверт, и едва только прочел первые строки анонимного произведения Иванова, как сердце упало в нем и лицо его исказилось выражением ужаса, злобы и страдания.

Он дочитал внимательно это письмо, столь обстоятельное и подробное, упоминавшее даже о заложенных двух платьях и шубке, спрятал его в карман, и на него словно бы напал столбняк. Он стоял недвижно, с застывшим, помутившимся взглядом, с беспомощно опущенными руками.

Появление какого-то матроса заставило его прийти в себя, почувствовать прилив бешеной ревности и сознать, что какое-то ужасное, тяжкое горе внезапно мучительно обрушилось на него, и в то же время какая-то смутная надежда, что все, что написано, неправда, клевета, мгновениями проникала в его душу и несколько облегчала его.

Он был словно в каком-то тумане и чувствовал только, что

ему больно, невыносимо больно и что надо узнать поскорей всю правду.

Переживая эти страдания глубоко любящего и ревнивого человека, Григорий, однако, имел мужество скрывать их от посторонних глаз. Лицо его было только напряженнее и суровее и глаза возбужденнее.

В душевных страданиях, то веря, то не веря тому, что написано о жене, то готовый перервать горло подлому писаришке, то с презрением отгонявший мысль, будто он мог быть полюбовником жены, провел Григорий утро, и когда после пополудня команду отпустили на берег, он тотчас нанял финку и поехал на корабль, где служил его знакомый старый матрос.

Через полчаса Григорий вернулся на бриг мрачнее ночи.

Старый матрос подтвердил, что слухи о подлеце Ваське ходили и что он видел Аграфену, сильно заскучившую и исхудавшую.

XV

На бриге все скоро заметили, что Кислицын осунулся и сделался мрачен и неразговорчив, и догадывались о причине. Вся команда уж знала, что Кислицына Грунька “связалась” с писарем, и все матросы, любившие и уважавшие Григория, жалели его, хотя в то же время и осуждали за то, что он, кажется, умственный матрос, а так убивается из-за бабы.

– Из-за их не стоит убиваться-то. Потому, известно, баба – самая обманная тварь, какая только есть на свете! – авторитетно говорил по этому поводу пожилой матрос Гайка, жена которого действительно могла внушить ему такие нелестные понятия о женщинах вообще. – Скажем теперь так: ты из-за нее убиваешься, а она в ту ю ж пору перед кем-нибудь зенками, подлая, вертит или подолом, вроде как угорь, повиливает... А по-моему, братцы, так: чуть начала пошалить – избей ты ее до последнего дрызга и плюнь...

– Грунька Кислицына не такая... За ей прежде ничего не было слышно худого... Правильная была матроска... – заступился тот самый вельботный старшина Чекалкин, который первый привез на бриг известие о том, что Аграфена “свихнулась”.

– Не такая? – повторил черный, как жук, Гайка, глядя насмешливыми маленькими умными черными глазами из-под взъерошенных бровей на молодого матроса. – А ты лазил,

что ли, ей в душу? Бабья душа известно, что бездонная про-
рва... Угляди-ка, что в ей! Может, песок, а может, с позво-
ления сказать, и грязь... Не такая?! Все они, братец ты мой,
такие! Одного шитья. Недаром-то бог бабу всего-то из одно-
го ребра сотворил... Другого материала она и не стоит... Не
то в ей звание – шалишь! Адам был сотворен по образу и
по подобию божию, а она прямо-таки из ребра... Понял ты
разницу, братец ты мой?..

– Все это, может, и верно, но только Грунька Кислицына
совестливая матроска... Это впервые грех с ней случился,
коли правда, что Васька-писарь ее облестил! – снова горячо
вступился Чекалкин.

– Все они впервые!.. Моя матроска так каждый раз, когда
после лета вернешься в Кронштадт, говорит, что впервые...
Вот теперь, как вернемся в Кронштадт, она, наверно, бою от
меня ждет, – со смехом заметил Гайка.

– Что ж, ты и будешь бить? – спросил кто-то.

– А то как же? это уж такие правила... А я бы еще из-
за такой убивался!.. Давно уж меня и звания бы не было. А
мое дело: вернулся в Кронштадт и избил ее как следует по
всей форме... Смотришь, на следующий день – как встре-
панная кошка... И жареное, и вареное, и водка на столе...
Так и ублажает! Как есть самая увертливая тварь. А Кисли-
цын из-за такой твари как сыч какой ходит... Вовсе даже до-
вольно глупо!

– И попадет же теперь бедной Груньке! – участливо вы-

молвил Чекалкин, давно уж неравнодушный к красавице матроске.

– Это как пить. Первым делом. Однако до настоящего боя не доведет! – заметил не без сожаления Гайка.

– Почему?

– Добер он слишком к своей бабе. Обожает!

“Вихрь” простоял в Гельсингфорсе неделю и неожиданно получил от адмирала приказание идти за почтой в Кронштадт.

Все обрадовались.

Только Григорий, казалось, не только не обрадовался, а, напротив, как будто сделался еще угрюмее и угнетеннее.

– Что с тобой, Кислицын? – спросил капитан, останавливаясь у штурвала, у которого стоял Григорий и правил рулем, направляя “Вихрь” к Кронштадту. – Ты здоров?

– Точно так, вашескородие!

– А мне показалось, что ты нездоров? Такой мрачный стоишь, вместо того чтобы радоваться, что завтра увидишь свою Аграфену. Небось рад? – говорил капитан, знавший, какие примерные супруги были Кислицыны.

– Точно так, вашескородие! – отвечал Григорий. Но лицо его не выразило ни малейшей радости.

Капитан пристально взглянул на своего любимца рулевого и поднялся наверх.

На другой день, после полудня, открылся Толбухин маяк. Ветер чуть засвежел, и “Вихрь” ходко приближался к Крон-

штадту.

Григорий, стоя у руля, с каким-то страхом ожидал прихода на рейд и съезда на берег.

XVI

– Груня, а Груня... ты дома?

Ответа не было.

И Ивановна, удивленная, что Груня не откликается, прошла за полог.

Распростертая на полу, матроска молилась перед образами, у которых горели свечи.

– Груня! – окликнула громче старуха.

Та поднялась бледная, совсем исхудавшая за последние дни, с большими, ввалившимися, кроткими и потухшими глазами. Ее красивое лицо стало еще красивее и словно бы одухотвореннее и светилось выражением какого-то удовлетворенного тихого покоя.

Казалось, что Груню уж не тяготят никакие скорбные думы, не мучат никакие сомнения и она, примиренная, нашла выход из того мрака, которым окутана была ее душа.

– И что это ты, Груня, все молишься да молишься? Кажется, давно уж замолила все грехи! – ласково упрекнула Ивановна. – Я окликала тебя, а ты и не слыхала... А двери-то отперты, того и гляди обкрадут... А я нарочно к тебе с рынка прибежала... Сейчас матросик с брандвахты был, сказывал, что “Вихрь” с моря в Кронштадт идет... Готовься мужа принимать... Вечор будет.

Груня вздрогнула.

– Будет? – переспросила она.

– То-то будет... Готовь закуску какую да шти, что ли, свари, да чтобы чай с булками, одним словом, что следует, чтобы честь-честью принять мужа... Да есть ли у тебя деньги?.. А то возьми у меня...

– Спасибо, Ивановна... Не надо мне денег...

– Ну, а я опять к ларьку... Ужо раньше приду... Да смотри, Груня, помни, что я тебе говорила... Нишкни! А уж если ты так хочешь, я с мужем обо всем поговорю...

– Спасибо, Ивановна, за ласку! – дрогнувшим голосом промолвила Груня. – Ты ему, милая, все, все скажи, а я говорить не буду... Скажи, какая я великая грешница, как я мучилась, как молилась, как жалела, что огорчила его, доброго, хорошего... Все скажи... Он, наверно, простит... Он поймет...

И с этими словами Груня крепко поцеловала Ивановну.

– Да ты что ж это... словно опять замучилась, голубка?

– Нет, Ивановна, конец мучениям!

– И слава богу!.. Ну, прощай пока, ласточка!

– Прощай!

Как только что старуха ушла, Груня надела платок на голову, заперла двери на замок, положив ключ на полку в прихожей, куда всегда его клала, когда уходила и думала, что в ее отсутствие придет муж, и, поклонившись на крыльцо, твердой походкой пошла к Купеческой гавани.

День стоял мрачный. Ветер так и завывал, проносясь по

улицам и поднимая пыль.

На Господской улице кто-то сзади окликнул Груню. Она обернулась, увидела Ваську, и по лицу ее пробежала судорога.

Она продолжала идти, но Васька догнал ее и сказал:

– Смотри, Груня, мужу ни слова, а то – крышка и мне и тебе!

Она ни слова не ответила и только прибавила шаг.

Навстречу шла кучка матросов. Поравнявшись с нею, матросы хихикнули.

Она слышала, как кто-то сказал:

– Матроса своего бежит встречать да виниться! Лето-то гуляла с писарьком! А небось форсила... Я-де мужняя жена...

Еще какой-то офицер пристал было к ней, но, не получив никакого ответа, пустил её вслед:

– Писарей, видно, любишь, а офицеров нет!

Она только ежилась от этих оскорблений и шла все скорей и скорей.

Вот и стенка. Она поднялась на деревянную стенку, отделяющую гавань от рейдов, и пошла по ней, придерживая руками раздувающееся платье.

Дойдя до угла у Малого рейда, она остановилась и взглянула на море. Знакомый ей “Вихрь” быстро приближался к рейду... Она видела, как убрали паруса и бриг стал на якорь. Она заглянула вниз. Свинцовые волны с шумом разбивались

о стенку и обдавали брызгами матроску. Ей сделалось холодно, и тоска охватила все ее существо. Тоска и отчаяние. Но лицо ее по-прежнему было спокойно и полно решимости.

Она взглянула на серое небо. В одно мгновение перед ней пронеслась вся ее жизнь, чистая и безупречная до последнего времени. . . Потом она вспомнила Ваську, позор, грех, мужа – и совсем подвинулась к краю стенки.

“Господи, прости!” – прошептали ее уста.

И, перекрестившись, она с жалобным тихим криком бросилась в море.

Какой-то матросик, проходивший мимо, увидел ее падение и побежал на брандвахту.

Послали шлюпку, но тела не нашли.

XVII

В седьмом часу вечера Григорий пришел домой и, увидав, что дверь на замке, бросился к Ивановне.

– Где Аграфена? – спросил он.

Ивановна, вся в слезах, молчала.

– Где, говорю, жена? сказывай! Или она совсем к полюбовнику сбежала? Говори, старая!

– Бога в тебе нет, Григорий!.. Сбежала... Она к богу сбежала, голубка... Она утопилась в море сегодня... Вот где твоя жена!

Григорий рыдал, как малый ребенок.

Ивановна, всхлипывая от слез, подробно рассказала ему все, что случилось, как подлый писарек ее облестил, как она мучилась, каялась и как сегодня еще утром просила передать мужу, чтоб он ее простил...

– А мне и невдомек, что она уж даве решилась известить себя, бедная... Совесть-то, совесть ее замучила!..

Григорий всю ночь просидел у себя в комнате, не смыкая глаз.

Наутро он оделся и вместо того, чтобы отправиться на бриг, пошел в казарму, где жили писаря.

Когда Васька увидел Григория, медленно подходившего к нему, он мгновенно понял весь ужас своего положения и хотел было бежать, но Григорий загородил выход. Страх

несчастливого животного искажил красивые черты писарька. С каким-то недоумевающим, растерянным и умоляющим взглядом широко раскрытых глаз смотрел он в спокойное и неумолимое лицо матроса и только слабо ахнул, когда Григорий всадил ему в грудь свой матросский нож по самую рукоятку.

Затем Григорий вышел из казармы и, явившись в свой экипаж, доложил, что убил писаря Василия Антонова...